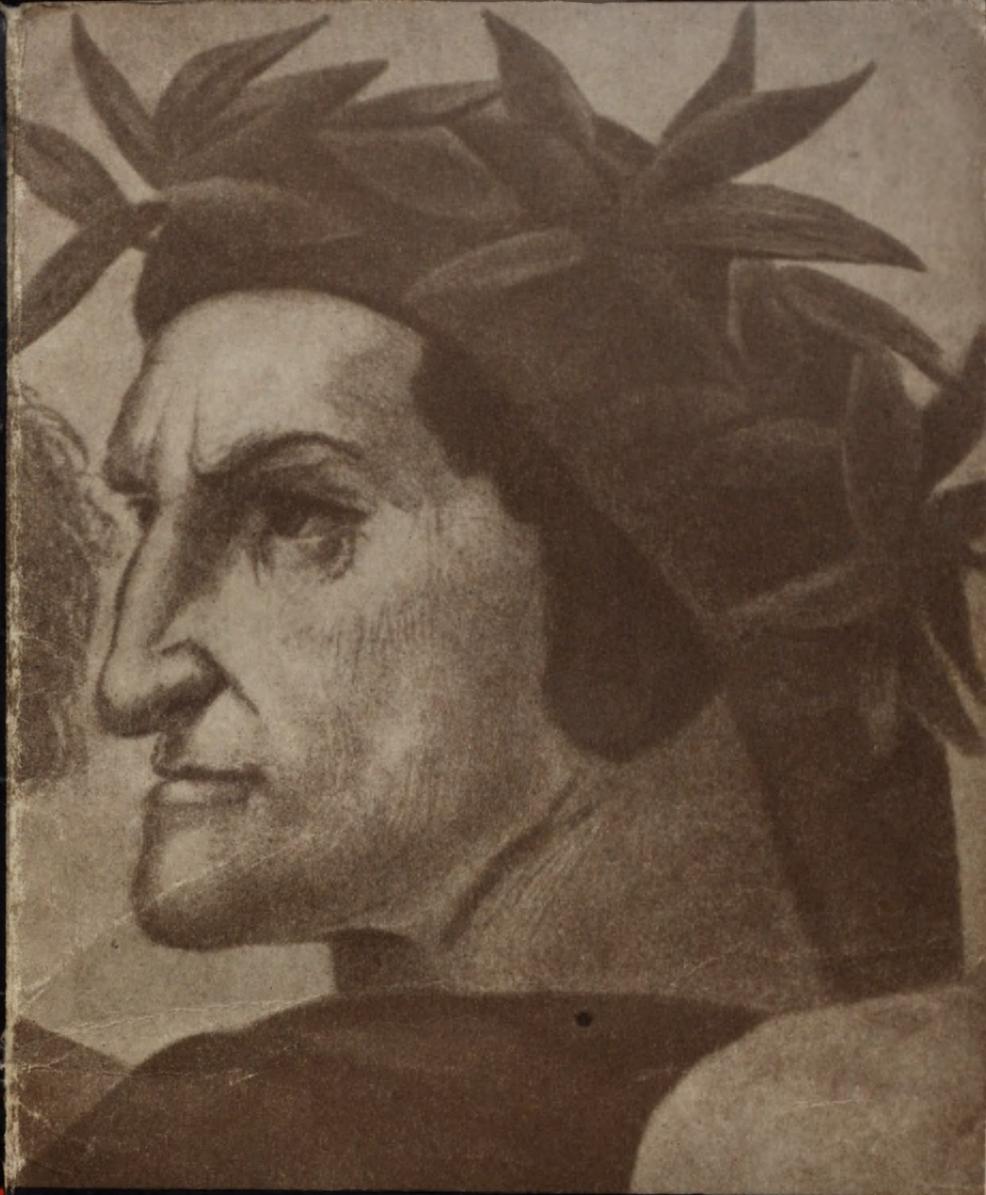


28 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Л.М. БАТКИН

ДАНТЕ

и его время

А К А Д Е М И Я П А У К С С С Р
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

Л. М. БАТКИН

ДАНТЕ и его время

ПОЭТ
И ПОЛИТИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1965

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
В. И. РУТЕНБУРГ

«Первой капиталистической нацией была Италия. Конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени».

Ф. Энгельс

Дорогому Володе,
отдающего силки не
только своему ф-ту,
но и друзьям.

Юлия Абрам.

Л. Баз.

ПЕРВЫЙ ПОЭТ НОВОГО ВРЕМЕНИ

(От редактора)

Данте Алигьери был наиболее колоритной и выразительной фигурой своей эпохи. Он родился в переломный период истории Италии. Сложность и противоречивость творчества великого итальянского поэта проистекает из той конкретной обстановки, в которой он жил и творил.

В передовых городах Италии XIII—XIV вв. впервые в истории человечества зарождались раннекапиталистические отношения. Они пробивали себе путь благодаря необычно интенсивному развитию городов-коммун, которое подмывало феодальные устои, но не стало еще достаточно мощным, чтобы сломить их.

Однако далеко не вся Италия была охвачена этим прогрессивным процессом, к тому же она была лишь островком среди моря феодальной Европы. Но прогрессивное явление измеряется не только его масштабами: Италия создала раннебуржуазную культуру Возрождения, оказавшую огромное влияние на все развитие европейской и не только европейской культуры вплоть до наших дней.

Данте был любимым поэтом Маркса: «Моим девизом, — писал он в предисловии к первому изданию

„Капитала“, — по-прежнему остаются слова великого флорентийца: „Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно!“».

Советский читатель знаком с творчеством Данте по его бессмертной поэме — «Комедии», прозванной современниками божественной, которая прекрасно переведена на русский язык М. Лозинским. Широко известна книга А. К. Дживелегова, охватывающая все стороны жизни и творчества Данте.

Истинный поэт всегда и философ, осмысляющий свою эпоху, ищущий новые пути. Предметом забот настоящего поэта являются его современник и его родина; он живет и борется и, будучи борцом, не может не быть политиком.

Совершенно закономерной является попытка Л. М. Баткина показать Данте Алигьери как политического мыслителя. Этой проблеме, до сих пор специально не изучавшейся в советском дантоведении, он посвятил около десяти лет, опубликовав несколько интересных исследований в исторических и литературоведческих журналах.

Л. М. Баткин воссоздает сложную и многогранную доктрину Данте, прослеживает истоки и становление его политических и социальных взглядов, обращаясь к изучению поэтических и философских сочинений великого флорентийца.

Автор, анализируя одну из важнейших сторон сложной и противоречивой философии «Комедии», содержание которой необъятно по своим задачам, убедительно доказывает и весьма красочно показывает, что идея Данте — империя, несущая Италии мир и порядок.

Прогрессивная идея Данте о единой Италии являлась доказательством упорных поисков и страстного желания поэта сделать свою родину страной мира и счастья. Однако практическая реализация этой мечты в эпоху Данте была невозможна. Свидетельство тому опыт римского трибуна Кола ди Риенцо, безуспешно пытавшегося объеди-

нить Италию, обращаясь к дантовской идее империи спустя лишь три десятилетия после Данте. Отдельные итальянские государственные образования — как типа городских республик, так и феодальные — были исторически сложившимися категориями, просуществовавшими несколько столетий.

Даже в XVI в. призывы Макиавелли к созданию сильной национальной власти, свободной от иноземцев и папского произвола, перекликавшиеся с идеями Данте, оставались патриотической мечтой, а реалистическая констатация Гвиччардини, современника и друга Макиавелли, о необходимости для Италии политической конфедерации приближалась к истинному положению вещей. Не случайно Италия пришла к своему единству только через пятьсот лет после Данте и поныне сохраняет следы гвиччардиниевской конфедерации.

Данте Алигьери был провозвестником Возрождения, пионером реалистического восприятия мира и человека, первым поэтом нового времени и в то же время поэтом средневековья с присущими ему элементами мистики, символизма и схоластики.

В книге показывается, что нельзя механически расчленить творчество Данте на две части, положив их на разные чаши весов. Его можно рассматривать только в целом как единство противоположностей, как отражение переломного характера эпохи.

Энгельс справедливо говорил, что о мыслителе нужно судить не по тому, что было у него неизбежно преходящим, а по тому, что он внес нового, прогрессивного. Только такой подход является действительно историчным. Данте Алигьери дал миру бессмертную «Комедию», обогатил и узаконил литературный итальянский язык и создал своеобразную социальную и политическую теорию.

Работа Л. М. Баткина является первым научным марксистским исследованием, в котором специально изучаются

социологические воззрения Данте, характеризуются классовые и политические позиции великого поэта. Живой и своеобразный язык автора не только помогает превращению сложных понятий и положений социологического учения Данте в доступные неспециалисту образы, но и вводит нас в реальную действительность далекой эпохи.

Мы твердо надеемся, что советский читатель с интересом и пользой прочтет эту книгу, представляющую собой составную часть библиотеки советских исследований о Данте Алигьери.

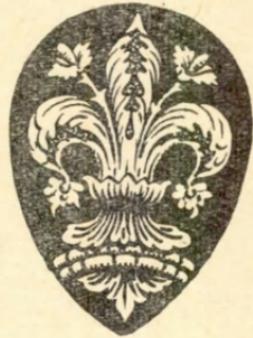
Ленинград

В. Рутенбург

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УТОПИЯ
ВСЕМИРНОЙ
МОНАРХИИ





«Безмерно горький мир»

Остались далеко позади черные провалы Ада, скалистые тропы Чистилища. И семь блаженных небес Рая — тоже позади. Данте возносится к созвездию Близнецов, под знаком которого он родился. Странствие по загробным царствам подходит к концу. Перед ним вскоре вспыхнет ослепительный свет вечной истины. Он торопится. Он увидит деву Марию и пресвятую троицу.

Но Беатриче вдруг просит поэта: «Ты так близок к высшему спасению, что взгляд твой должен быть ясным и строгим, и все же . . . оглянись, посмотри вниз — сколько миров я уже повергла к твоим ногам».

«Мои глаза, — рассказывает Данте, — вернулись сквозь все семь небес, и я увидел этот шар таким, что усмехнулся его жалкому обличью. . .»

Эта усмешка поэта, с высоты звездного неба взирающего на землю, — один из гигантских взмахов воображения, так часто поражающих читателей «Божественной комедии».

«Я считаю мудрейшим того, кто ни во что не ставит этот шар», — презрительно роняет Данте, отворачиваясь. И принимается восхвалять величие небесных сфер. Он любит обратную сторону Луны, поражается нестерпимому блеску Солнца, наблюдает вращение Меркурия или

Венеры. Но вновь не выдерживает. Вновь, вопреки собственным словам, смотрит — и видит «целиком, от гор до речных долин, клочок, который делает нас столь свирепыми»¹.

Так, путешествуя в Раю, Данте оглядывается на землю. Меньше всего эти противопоставления похожи на традиционный средневековый мотив. Здесь слишком много боли. Слишком много горечи.

Окруженный толпой святых богословов, почтительно беседуя с самим Фомой Аквинским, Данте неожиданно прерывает торжественную сцену сатирическими выпадами:

Кто разбирал закон, кто — афоризм,
Кто к степеням священства шел ревниво,
Кто к власти чрез насилие иль софизм,
Кого манил разбой, кого — нажива,
Кто, в наслажденья тела погружен,
Изнемогал, а кто дремал лениво,
В то время как, от смуты отрешен,
Я с Беатриче в небесах далече
Такой великой славой был почтен².

В шести строках достается сразу всем — юристам и философам, священникам и политикам, рыцарям и купцам.

В молодости у Данте был хороший друг — Форезе Донати. Форезе рано умер. Но в одном из кругов Чистилища друзья встречаются и ведут неторопливую беседу — живой с мертвым. «Скоро ль встретимся мы снова?» — спрашивает Форезе. И Данте отвечает спокойно и печально:

Не знаю, сколько буду жив;
Пусть даже близок берег, но желанье
К нему летит, меня опередив;
Затем что край, мне данный в обитанье,
Что день скуднее доблестью одет
И скорбное предвидит увяданье³.

Эта мысль неустанно повторяется чуть ли не в каждой песне «Комедии»: редко с такой мрачной сосредоточенностью, чаще — в безудержном гневe. Судьба родной

Флоренции волнует даже грешников в Аду. Один из них, Рустикуччи, обратился к Данте:

Скажи: любовь к добру и честным правам
Еще живет ли в городе у нас,
Иль разбрелась давно по всем заставам?

Поэт, едва услышав это, вскричал, подняв голову:

Ты предалась распутству п гордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,
Флоренция, тоскующая ныне! ⁴

Некогда славный город стал «гнездилищем неправды и тревог». Было бы очень несложно объяснить негодование Данте, если бы оно было обращено только против Флоренции, оказавшейся злой мачехой для изгнанника. Но для Данте ненавистно само название «проклятой и несчастной канавы» — реки Арно, в долине которой вместе с «волками»-флорентийцами живут «лисицы»-пизанцы, «дворяжки»-аретинцы и «грубые свињи»-казентинцы. «К чему молчать? Пусть всякий мне внимает!» И Данте уверяет нас:

Места ли эти под наитьем зла,
Или дурной обычай правду рушит,
Но жалкая долина привела
Людей к такой утрате их природы,
Как будто бы Цирцея их пасла ⁵.

Достаточно красноречивая оценка Тосканы! Но не лучше и Романья. О ней Данте тоже восклицает: «Увы, романцы, мерзость вырожденья!» И сводник Каччанемико сообщает поэту в Аду, что здесь больше болонцев, чем их осталось в самой Болонье...

Вообще, о каком бы городе Италии не зашла речь, у Данте обычно не находится ничего, кроме насмешек и проклятий.

Стори, Пистойя, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
Ты свой же корень в скверне превзошла ⁶.

Что касается сьенцев, то кто их беспутней? Кто продажней жителей Лукки, где «нет» за деньги превращается в «да»? Что сказать о Неаполе, где «каждый — лжец»? Или о Риме, в котором «повседневно торгуют Христом»? ⁷

«О Пиза, стыд пленительного края», — гремит Данте, но через минуту речь заходит уже о Генуе, и мы слышим:

О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул? ⁸

Библейским пророком проходит Данте по земле Италии, и у него с трудом хватает слов, чтобы заклеить современников, чтобы не забыть ничего в бесконечном перечне злодеяний. Исчезли, исчезли добро и благородство в «растленном итальянском краю». И нет в Италии *ни одного* государства, о котором можно было бы сказать вслед за Экклезиастом: «Блаженна страна, в которой царь благоден» ⁹.

«Бедная Италия...»

Но суровый взгляд Данте не смягчается, падая и за ее пределы. Оказывается, полное неблагополучие в Чехии и Франции, Шотландии и Испании, Сицилии и Португалии, Сербии и Норвегии, Венгрии и Англии! ¹⁰ Данте обрушивается сразу на всех королей Европы. Грех и бесславие — повсюду, троны — в грязи, а народы впадают в ничтожность. Если Флоренция сравнивается поэтом с больной, ворочающейся среди перин и не знающей отдыха, то ведь болен и целый мир.

«Обманчивый мир», — говорит Данте.

«Безмерно горький мир!» — восклицает он.

Ощущение беды ширится, оно вмещает уже все христианское человечество, вселенную, облекается в привычные для средневековья апокалиптические формы. «Мир сбился ныне с дороги...» ¹¹ Так, кратко и сильно, Данте подытоживает огромный запас зорких и прочувствованных наблюдений.

Но почему Беатриче «скорбит о жизни современной несчастных смертных»? Чем объяснить пронзительный трагизм Данте? На это нелегко дать быстрый ответ.

В то время политическая карта Италии походила на испещренный разноцветными заплатами плащ францисканца. На юге — Сицилия под властью испанской династии и Неаполитанское королевство под властью династии французской. Севернее — Папская область, а в ней — самостоятельные, по сути, города вроде Перуджи и высокие замки независимых баронов вроде знаменитых Ко-

лонна и Орсини. Еще северней — десятки государств Тосканы, крупных, мелких и мельчайших. Среди них жемчужина — Флоренция. Затем — обширная Ломбардия, пастоящая мозаика из республик, тираний, графств и маркизатов. Наконец, на западе и на востоке — владения республиканской Генуи и олигархической Венеции.

Италия, как и полагается такому политическому муравейнику, паходила в постоянном волнении. Шла война всех со всеми: за власть, за плодородные земли, за удобные бухты и кратчайшие торговые пути. Воевали на суше и на море, в одиночку и союзами, под знаменами партии гвельфов и под знаменами партии гибеллинов. Борьба усложнялась чересполосицей границ, обилием и разнообразием чисто местных интересов, головоломными интригами, семейной и личной враждой. Классовые страсти разгорались за городскими стенами, горожане не расставались с оружием, и тревожные звуки набата то и дело разносились по улицам.

Данте жил в этой напряженной атмосфере, сам доблестно сражался в рядах флорентийцев против соседнего Ареццо и вспоминал потом в «Комедии».

Я конных ратей видывал движенья,
В час грозных сеч, в походах, на смотрах,
А то и в бегстве, в поисках спасенья;
Я видывал наезды вам на страх,
О аретинцы, видел натиск бранный. . .¹²

Но поэт, ставший жертвой политической борьбы, в конце концов возненавидел лязг оружия, наполнявший Италию.

Вопрос, заданный ему Гвидо Монтефельтро: «Скажи: в Романье — мир или война?» — заставляет Данте погрузиться в горестные размышления, ибо

Романья даже в день покоя
Без войн в сердцах тиранов не жила . . .¹³

В «Чистилище» есть знаменитый эпизод: встреча с тенью поэта Сорделло. Сорделло захотел узнать у необычных путников, откуда они родом. И разыгралась трогательная сцена:

Чуть «Мантуя. . .» успел сказать Вергилий,
Как дух, в своей замкнутой глубине,

Встал, и уста его заговорили:
«О мантуанец, я же твой земляк,
Сорделло!» И они объятия слили.

Их объятия понадобились Данте лишь для того, чтобы написать яростные, великолепные строки:

Италия, раба, скорбей очаг,
В великой буре судно без кормила,
Не госпожа народов, а кабак!
Здесь доблестной душе довольно было
Лишь звук услышать милой стороны,
Чтобы она сородичей почтила;
А у тебя не могут без войны
Твои живые, и они грызутся,
Одной стеной и рвом окружены.
Тебе, несчастной, стоишь оглянуться
На берега твои и города:
Где мирные обитатели найдутся? ¹⁴

Только этой шестой песни «Чистилища» уже достаточно, чтобы убедиться, что Данте был врагом партийных распри, междоусобных войн, феодальной анархии и мечтал о мире и гражданском покое. Но вот одна из песен «Ада». Данте, отпрыск гвельфской семьи, встречается с гибеллином Фаринатой Уберти. Фарината («быть может, чрезмерно измучивший свою благородную родину» гражданской войной) когда-то один выступил против решения флорентийских нобилей — гибеллинов стереть с лица земли родной город, гнездо гвельфизма. И Фарината гордо вспоминает о своем патриотическом порыве, спасшем Флоренцию, вспоминает в поучение современникам Данте.

Отец Данте боролся против Фаринаты. Но сам поэт, которому были заказаны пути на родину, ведет с Фаринатой грустный разговор, оба сожалеют о партийных расдорах, и Фарината желает сыну врага: «В милый мир да обретешь возврат!» А Данте отвечает: «О, если б, наконец, обрели покой наши потомки!» ¹⁵

Да, это ключ к душе Данте. Насколько ненавистна ему современная Италия, «где дух столь многих гибнет загрязненный», настолько сильна его мечта о «прекрасном, мирном быте граждан, в гражданственном живущих единении» ¹⁶.

Тень принца Карла Мартелла вопрошает у Данте: «Скажи, разве не было бы совсем худо человеку на земле, если бы он не был гражданином?» — «Тут не требуется доказательств», — отвечает Данте¹⁷.

Поэт напоминает ему слова Аристотеля: «Человек — общественное животное». Бог создал человеческое общество ради определенного предназначения. И это предназначение, эта «единственная цель человеческой гражданственности» заключается в разумной деятельности для достижения всеобщего блага и счастья. Ибо «человек должен жить счастливо, это то, для чего он рожден»¹⁸.

«Но как отдельный человек совершенствуется в знаниях и мудрости, пребывая в тишине и покое, так и весь род человеческий в спокойном и отдохновенном мире легче и свободней всего свершает предназначенный ему труд... из чего явствует, что всеобщий мир есть лучшее из всего, что служит нашему блаженству. И то, что было возведено свыше пастухам, — не богатство, не наслаждение, не почести, не долголетие, не здоровье, не сила, не красота, а мир. И разве не возгласило воинство небесное: „Слава господу во всевышних, на земле же мир людям доброй воли“»¹⁹.

Учение о мире как главном условии человеческого счастья является, по словам самого Данте, краеугольным камнем его политической философии. Здесь сходятся все нити дантовской идеологии.

Поэт, требуя мира для человечества и для родной страны, с горечью сознавал, насколько далека была от покоя Италия. «Мы видим на опыте, как возникают раздоры и войны между государствами, и это причиняет бедствия городам, а вслед за городами — родам, и вслед за родами — семьям, и вслед за семьями — отдельным людям. И вот рушится счастье»²⁰. Не может быть мира, пока нет согласия и единства.

Данте, несмотря на всю свою религиозность, далек от того, чтобы усматривать причины земных неурядиц в божьем провидении. Здравый смысл, подкрепленный схоластическим учением о свободе воли, подсказывает поэту, что их нужно искать не на небе, а на земле. «Каждый человек является естественным другом для каждого человека»²¹. Стало быть, дело и не в прирожденной порочности человеческой природы. Нет, причина бедствий носит конкретно-политический характер. «Совершенно

очевидно, что плохое управление виной тому, что мир стал преступным»²². «Плохое управление», иначе говоря, — раздробленность Италии. Обращаясь к тем, кто «держит бразды правления государств Италии», Данте обличает их всех — «королей и других властителей и тиранов» — как «врагов господ». «О несчастные, правящие ныне! И о несчастнейшие, те, кем управляют!»²³

И Данте призывает на помощь всю силу богословских силлогизмов, чтобы доказать необходимость единой власти и пагубность многовластия²⁴. Он цитирует Библию: «Каждое царство, разделившееся в себе, пустеет». Но не ссылки на авторитеты, а историческая реальность придает глубину и убедительность его аргументам. «Законы есть, но кто же им защита? Никто...»²⁵ Нет могучей, твердой власти, которая склеила бы расколотую на сотни государств Италию, покончила бы с междоусобицами, беспорядком, беззаконностью.

Пад землею власть упразднена,
И род людской идет стезей опасной²⁶.

Но где же выход? Где та сила, которая, по мнению Данте, могла бы объединить пострадавшую Италию?

«Судно без кормила»

Принято считать, что раздробленность Италии явилась результатом непрерывного соперничества городов, конкурировавших на внешнем рынке и гораздо меньше связанных с внутренним, а потому не заинтересованных в политическом единстве страны.

Следует еще добавить, что итальянские города были в большинстве своем настолько сильны, что не нуждались в помощи центральной власти, чтобы разделаться с гнетом крупных феодальных сеньоров. И это, пожалуй, даже важнее коммерческой конкуренции. Во Франции или Англии королевская власть смогла укрепиться, только опираясь на города, искавшие, в свою очередь, у нее защиты от засилия феодалов. Но свобода городов, дарованная королем, оказывалась относительной, и со временем уверенный уже в своем могуществе монарх накладывал тяжелую руку на городские вольности. В Италии же картину совершенно изменила трехсотлетняя борьба пап и

императоров. Цветущие итальянские города, ловко лавируя между этими политическими Сциллой и Харибдой, сумели добиться полной независимости. Если за Альпами село в политическом отношении господствовало над городом, то в Ломбардии или Тоскане было как раз наоборот. Город господствовал над селом не только экономически, но и политически, обязательно ведя захваты и превращаясь в маленькое государство. Каждая коммуна жила по своим законам и не обращала внимания на остальных, благо империя и папство обессилили друг друга.

Но разве все разделяло тогда итальянцев и ничто их не объединяло? Может возникнуть впечатление, что в XIV в. отсутствовали объективные предпосылки для создания общетальянского государства. Верно ли это?

Прежде всего экономические интересы не только ссорили итальянские города, но и тесно связывали их. Между отдельными областями установился весьма интенсивный обмен: во времена Данте эти внутренние экономические связи были вряд ли слабей, чем, скажем, во Франции, и, во всяком случае, несравненно сильней, чем в Германии. Историки, увлекаясь блестящей картиной внешней торговли, зачастую пренебрегали процессом зарождения внутреннего рынка в Италии. Этот процесс изучен еще недостаточно. Но даже наличный материал позволяет судить о многом.

Возьмем, например, Флоренцию²⁷. С большинством тосканских городов она имела соглашения о единстве монетной системы, обеспечении безопасности торговых путей и арбитраже в случае противоречий. Постоянная вражда Флоренции и Пизы объяснялась как раз тем, что обе коммуны экономически зависели друг от друга. Торговые и денежные узы соединяли Флоренцию не только с Тосканой, но и со всем полуостровом, от Неаполя до Венеции. В трактате флорентийского купца Пеголотти перед нами вырисовывается картина хорошо налаженных отношений его родной коммуны почти с двадцатью крупнейшими итальянскими городами. При переводе денег по векселю в Анкону или Геную, Болонью или Милан сроки перевода обуславливались в договорах с точностью до одного дня, причем Пеголотти указывает обычные сроки, определившиеся, конечно, в результате регулярной практики. Столь же устоялись традиционные ставки процентов

за подобные операции. Флоренция получала железо и лес из Калабрии, медь из Массы, олово из Венеции, серу из Искья, лен из Гаэты, тмин и мыло из Апулии, сахар из Сицилии, скот, хлопок, воск, соду, изюм, масло и вино из Романьи. Флоренция не могла бы обойтись без этого широкого потока товаров из разных концов страны. Ее жители ели хлеб, выпеченный из южноитальянского зерна, и клали в кушанья генуэзскую соль; ее купцы перевозили товары на венецианских или пизанских судах; ее шерстоткацкие мастерские нуждались в стальных кардах из Милана и в шафране из Аквилы. Известна особенно тесная связь Флоренции с экономикой Неаполитанского королевства. В свою очередь, Флоренция экспортировала сукна во все уголки Италии. В стране не было ни одного сколько-нибудь значительного города, где не обосновались бы конторы Барди, Перуцци и других крупных флорентийских «компаний». По Италии расходились, наконец, и сотни видов ремесленных изделий Флоренции.

О подавляющем большинстве итальянских городов XIV в. можно, по-видимому, сказать нечто подобное²⁸. Не только Флоренция, но и, допустим, какой-нибудь Прато, ее скромный сосед, были втянуты в бурный товарный круговорот. Любопытно обилие гостиниц — повсюду, в самых маленьких городишках, даже в селах. Во Флоренции в 1394 г. их было 622, не считая 234 в деревенской округе (контадо). В одной из гостиниц Ареццо, в предгорьях Аппенин, в 1385 г. за 19 дней побывало 180 постояльцев; их имена сохранились — это преимущественно купцы из 25 краев Италии. Двигались товары, смешивались люди и наречия. Вот заурядная коммерческая операция: аретинский купец отправляет сьенские сукна через Пизу в Палермо, где их приобретает болонский торговец.

Очень показательны документы о торговле, совершавшейся в 1396—1397 гг. через порт Реканати — ничем не примечательный приморский город в Марке, довольно бедной области, отдаленной от крупнейших итальянских центров. Мы обнаруживаем тут купцов решительно из всех концов страны.

Окрестные районы производили — специально для экспорта — вино, масло и многое другое, ввозя через Реканати стекло и шелк из Венеции, сукна из Флоренции, разнообразное сырье для ремесленников.

Если такое оживление было в захолустном Реканати, что же сказать об огромных портах вроде Пизы или Генуи, крепко спаянных с экономикой внутренних областей? Например, Венеция оставалась средоточием транзитной торговли, но то был, в первую очередь, внутри-итальянский транзит — на одну лишь Ломбардию приходилась четверть венецианского экспорта.

Главнейшие торговые пути перерезали страну через долину По с востока на запад, от северных озер к Генуе и далее морем к Пизе, из Флоренции через Болонью и Феррару к Венеции, от Альп к Риму, из Сицилии и Неаполя — хлебных кладовых полуострова — к Венеции вдоль адриатического побережья, к Флоренции сушей, к Пизе морем.

Словом, взаимоотношения итальянских городов не исчерпывались конкуренцией и враждой²⁹. Между приморскими и внутренними районами, между Севером и Югом существовала известная экономическая общность, проявлявшаяся, в частности, в разделении труда, в экономической специализации областей.

Ко времени Данте уже вполне сложилась итальянская народность, она была такой же реальностью, как и, скажем, французская. Распространено мнение, что итальянская народность складывалась медленней других. Это справедливо по отношению к раннему средневековью, но к началу XIV в. итальянцы ничем не уступали по своей национальной зрелости любой иной народности в Европе. Итальянский язык возник позднее французского, но зато раньше сформировался. Если первый письменный памятник французского языка относится к 842 г., то первые памятники, целиком составленные на итальянском языке, — к 960—964 гг. (судебные свидетельские формулы). Если расцвет французской художественной литературы начинается с конца XI в., то в Италии такой расцвет можно отметить только с первой половины XIII в. Однако уже в начале XIV в. на основе тосканского диалекта возникает общенациональный литературный язык. «Божественная комедия» написана шесть с половиной веков тому назад на языке, мало отличающемся от современного, — явление, кажется, невиданное для всех других европейских языков. Во Франции лишь с XV в. франсийский диалект Иль-де-Франса и Орлеанского герцогства постепенно превращается в общенациональный язык,

подвергающийся в дальнейшем весьма серьезным изменениям.

В эпоху Треченто ярко обозначается и особый склад итальянского национального характера, сказавшийся в неповторимой окрашенности искусства.

Разве существование итальянской народности не было уже само по себе достаточной объективной предпосылкой для объединения страны? По словам Ф. Энгельса, с IX в., «как только произошло разграничение на группы по языку... эти группы начали служить основой образования государств»; в итоге «стихийного процесса» «каждая национальность, за исключением, пожалуй, Италии, была представлена в Европе особым крупным государством, и тенденция к созданию национальных государств, выступающая все яснее и сознательнее, является одним из существеннейших рычагов прогресса в средние века»³⁰.

Такая тенденция была потенциально присуща и Италии, но не смогла там возобладать. Понять причины этого помогает Энгельс. Вдумаемся в его замечания относительно судеб Германии, единственной европейской страны, которая наряду с Италией не стала централизованным государством. Централизация Германии оказалась невозможной по следующим причинам: «1) Феодализм развился здесь позднее, чем в странах, переживших завоевание; 2) Германия имела в своем составе французские и славянские области и рассматривала Италию как свое достояние, а Рим как свой центр, — таким образом, не являлась *национальным* комплексом; 3) потому что — и в этом главное — отдельные провинции, а также обособленные группы провинций были еще совершенно изолированы друг от друга: никаких сношений между ними...» И еще: «Решающим явилось то, что в Германии, раздробленной на провинции и *избавленной на длительный срок от вторжений*, не ощущалось вследствие этого такой сильной потребности в национальном единстве, как во Франции... в Испании... в России... в Англии». И все-таки, подчеркивает Энгельс, «Германия, несмотря на отсутствие экономических связей, была бы также централизована, и даже еще раньше (например, при Оттонах), если бы, во-первых, римский императорский титул и связанные с ним притязания на мировое господство не сделали невозможным конституирование национального государства

и не привели к растрате сил в итальянских завоевательных походах... Во-вторых, этому помешала система свободного избрания императора: она не только не допускала, чтобы династическая императорская власть сделалась воплощением нации, но и постоянно приводила... к смене династии... Во Франции и Испании тоже существовала экономическая раздробленность, но там она была преодолена с помощью насилия»³¹.

Замечательные рассуждения Энгельса служат ключом не только к немецкой, но и к итальянской истории. Нетрудно заметить существенные различия между Германией и Италией, причем различия, так сказать, «в пользу» Италии. Италия была в числе стран, подвергшихся варварскому завоеванию, и феодализм не запоздал здесь с развитием; Италия, в отличие от Германии, являлась национальным комплексом; Италия, в отличие от Германии, непрерывно подвергалась иностранным вторжениям. Следовательно, три фактора, препятствовавших объединению и действовавших в Германии, отсутствовали в Италии. Четвертый фактор — экономическая разобщенность — проявлялся в Италии неизмеримо слабее, чем в Германии. Выразительная характеристика немецкой экономики, данная Энгельсом, неприменима к Италии.

Что же тогда мешало? Сепаратизм итальянских городов? Однако южнофранцузские, южногерманские и ганзейские города напоминали в этом отношении города Италии. Вообще-то наличие центробежных сил экономического и политического порядка — естественно и неизбежно в период консолидации феодальных народностей³². Разве во Франции или Испании «экономическая раздробленность» не была, по словам Энгельса, «преодолена при помощи насилия»? Разве Германия не могла бы объединиться, хотя этому препятствовали обстоятельства, не менее серьезные, чем в Италии?

Словом, справедливая сама по себе ссылка на противоречия между итальянскими городами лишь устанавливает наличие центробежных сил, еще не объясняя, почему они смогли возобладать над центростремительными силами, о которых никак нельзя забывать.

Италия, как и Германия, могла бы быть объединена, если бы не отсутствие национальной династической власти, подмененной «священной империей». В этом отношении судьба двух стран сложилась сходно, хотя раздробленная

Германия явилась все же обладательницей августейшего наездника, а раздробленная Италия — олицетворением его коня. Ни к югу, ни к северу от Альп не было того стержня, вокруг которого только и могла произойти консолидация, не было королевской власти, которая стала бы «представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства»³³, которая при помощи насилия преодолела бы сепаратизм городов и феодалов.

Энгельс возвращается к этой мысли неоднократно. Он отмечает, что Франция объединилась «благодаря династической власти, которая постепенно втягивала нацию в свою орбиту». Он делает подобные же наблюдения относительно других народностей и констатирует: «Во всей Европе оставались еще только две страны, в которых не было ни королевской власти, ни без нее тогда невысказанного национального единства, или они существовали только на бумаге: этими странами были Италия и Германия»³⁴. Так Энгельс прямо отвечает на интересующий нас вопрос.

Императоры, постоянно забывавшие общегерманские интересы, уж совсем не заботились об интересах общепитальянских. Они являлись в страну как завоеватели и грабители, и эти чуждые для Италии властители, с их мировыми притязаниями и разорительными вторжениями, лишь препятствовали национальному единству. В Италии не просто отсутствовала монархия: формально существовало итальянское королевство, но на его троне восседали космополитические императоры. И тот, кто захотел бы основать настоящую национальную династию, реальную итальянскую монархию, должен был бы снять железную лангобардскую корону с головы Барбароссы или Генриха Люксембургского, или Людвига Баварского, прежде чем надеть ее на свою голову.

Вторым труднейшим препятствием была светская власть папства. В центре полуострова раскинулось папское государство. Пока римская церковь в качестве международной политической силы, менее всего пекущейся о национальных потребностях, повелительно вмешивалась в жизнь страны — нечего было и помышлять об итальянском единстве. Это настолько верно, что когда Италия в прошлом столетии дождалась часа своего воссоединения,

ей пришлось оплачивать кровью гарибальдийцев решение той же самой политической головоломки.

Даже для современной Италии светское влияние папства остается мрачной и нелегкой проблемой. Что же сказать не о XX, а о XIV в., когда католическая церковь еще не оставляла мечтаний о мировом господстве?

Между тем возникновение итальянской национальной монархии превратило бы пап в жалких пленников Рима. Церковь была готова на все, лишь бы не допустить возвышения государя, способного осуществить что-либо подобное. История зло подшутила на страной Данте — ее судьба переплелась с судьбами империи и папства, двух космополитических гигантов Европы. Крайне заинтересованные в Италии, но чужие ей, они избрали ее полем своих нескончаемых столкновений.

Ф. Энгельс лаконично, в одной фразе сказал об обеих причинах: «„Культуркампф“ императора против папы в средние века привел к раздроблению и Германии и Италии (в Италии папская власть — препятствие национальному единству...)»³⁵.

Существовало и третье (но не столь уже значительное) препятствие: хозяйничанье на Юге чужеземной — французской — династии и попытки французов еще более расширить свое влияние в Италии.

Итальянские города отстаивали и от императоров, и от пап, и от Франции свою независимость. Но ценой свободы Италии стала ее раздробленность. Потому что ни один из практически существовавших тогда вариантов объединения не соответствовал коренным интересам итальянских коммун. Было бы, однако, большой ошибкой делать отсюда вывод, что города не страдали от раздробленности страны. Отсутствие единства затрудняло внутриитальянский экономический обмен и лишало итальянских купцов и банкиров мощной государственной поддержки за рубежом. Города были заинтересованы в прекращении кровавого политического хаоса, в усмирении поверженных, но не покорившихся грандов, в обуздании мелких феодальных тиранов, в уничтожении светского могущества ненавистного папства, в спасении от непрерывных немецких, французских, испанских грабительских нашествий. Ибо страна была «в великой буре судном без кормила...»

Характеризуя силу и самостоятельность итальянских коммун, обычно приводят гордые слова некоего Бетто

Брунеллески: «Флорентийцы никогда ни перед каким синьором не склоняли рогов»³⁶. Но эти слова были в сущности, напыщенной ложью. В могущественной Флоренции за время жизни Данте побывали немецкие всадники Манфреда, французские наемники Карла Анжуйского и рыцари Карла Валуа. Флорентийцы непрерывно подвергались интригам и угрозам пап и соглашались в 1273, 1279 и 1304 гг. на их временный протекторат, подчинялись Роберту Неаполитанскому, трепетали перед соседними тиранами Угуччоне и Каструччо Кастракани, пережили несколько дворянских мятежей — и все это, повторяем, лишь за время жизни Данте.

Несмотря на относительную слабость итальянских феодалов, борьба с ними оказалась для коммун, даже таких мощных, как Флоренция, несравненно более трудным и длительным делом, чем, скажем, для северофранцузских коммун. Разрозненные итальянские города вынуждены были каждый в одиночку вести отчаянную войну не только против «своего», местного дворянства, но и против стоявших за его спиной европейских феодальных сил. Отсутствие центральной королевской власти невероятно осложняло эту борьбу и нередко обрекало ее на серьезные поражения. Одним из таких поражений был ознаменован для Флоренции 1301 г., когда флорентийцы — увы! — «склонили рога» перед французским принцем и папой, когда в городе возобладала дворянская партия черных гвельфов, а будущий автор трактата «О монархии» был обречен на вечное изгнание.

Следует признать, что, несмотря на местный сепаратизм, итальянские кушцы и ремесленники — «пополаны» — были объективно заинтересованы в ликвидации раздробленности; как и повсюду в Европе, в этом ощущалась жгучая потребность. Но, разумеется, благодаря особенностям развития итальянских городов, они могли бы принять объединение лишь на определенных условиях. Их устроила бы национальная династическая власть, уничтожение светского господства пап и сохранение при этом максимума коммунальных свобод, максимума городской автономии. Историческая действительность не предоставляла такого варианта объединения. Но передовая мысль итальянской ранней буржуазии не желала смириться. И на протяжении веков настойчиво искала выход.

Искал и Данте.

«Сад империи»

Идея всемирной монархии — плоть от плоти Данте. Она выношена им в мучительных скитаниях и, выстраданная, заполнила собой все сто песен «Божественной комедии». К XIV в. «Священная империя германской нации» одряхлела, неудачная борьба двух Фридрихов с папами надломилась. Не странно ли, что именно на эту искусственную империю, не имевшую ничего в будущем и оставившую в прошлом кровавую память о себе в Италии, — не странно ли, что именно на нее возложил все свои надежды Данте? Перед нами по форме идея «всемирной» монархии. По существу же — это идея монархии национальной, итальянской.

Данте представляет себе Италию как строго очерченное целое. В трактате «О народной речи» он указывает точные географические границы итальянской народности, обсуждая, не слишком ли велики чужеродные примеси в Триесте и Турине. Он обнаруживает понимание национальной общности, когда пишет: «Те из обычаев итальянцев являются благороднейшими, которые свойственны не одному городу, а всем коммуна́м Италии»³⁷. Насчитывая «в сем малом уголке мира» свыше 1000 мелких и 14 основных говоров, Данте подчеркивает, что существует возвышающийся над хаосом местных наречий «народный язык, принадлежащий всей Италии»³⁸. И поет в «Пире» горячий патриотический гимн в честь этого языка.

Пусть не смущает нас, что Данте именуется общенациональный язык «придворным». Как раз это лучшее доказательство его политической пронизательности. «Мы называем язык придворным по той причине, что, если бы мы имели в Италии двор, он (язык) был бы придворным, ибо двор есть общий дом для всего королевства и августейший правитель всех частей королевства». Но, с горечью замечает поэт, «наш язык странствует как чужак и укрывается в ничтожных приютах, ибо нет у нас двора». Поэтому говорить, что народный язык «утверждается при высочайшем итальянском дворе, кажется вздором...» «Однако на это легко ответить», — замечает Данте. И далее следует смелое рассуждение: «Хотя в Италии и нет двора (если понимать его в качестве единого, как двор, например, немецкого короля), однако члены его у нас имеются и, как в Германии они объединены одним госу-

дарем, так у нас они объединены благодатным светом разума; поэтому было бы ложно считать, что итальянцы лишены двора, хотя государя мы и лишены; мы имеем двор, но он находится в телесном рассеянии»³⁹.

Мысли Данте выражены с удивительной тонкостью. Под словом «двор» он понимает национальность, воплощенную в монархии, как в своем государственном единстве. Итальянская народность, обладая языковой и духовной общностью (скрепленная «благодатным светом разума»), лишена, однако, «телесного», т. е. политического, единства, лишена того «государя», о котором позже будет тосковать Макиавелли.

Внутри Италии нет силы, способной покончить с «телесным рассеянием» и создать «общий дом» итальянцев. Неприемлемо для Данте и чужеземное, например французское, господство. Номинальную власть Священной империи заменить было нечем. И Данте видел один лишь выход: превратить номинальное единство в действительную государственную общность под скипетром всемирного монарха.

Но разве это не означало бы отдать Италию в руки как раз чужеземных, немецких императоров? Нет! И здесь мы подходим к самой сути дантовского проекта.

Поэт полагал, что не Германия, а Италия должна стать центром всемирной империи и носителем императорской власти — лишь римский народ, избранный господом. Доказательству посвящена целиком вторая книга трактата «О монархии». Данте разворачивает обильную схоластическую аргументацию, исходя исключительно из истории древнего Рима. Именно античная Римская империя, а не средневековая, служит отправной точкой рассуждений Данте. Его идеал — эпоха Августа: «Только при божественном монархе Августе монархия была совершенной, а мир пребывал в покое. И что тогда человеческий род был счастлив в спокойствии всеобщего мира, сочли достойным засвидетельствовать все историки и знаменитейшие поэты... и, наконец, Павел назвал это счастливейшее состояние „полнотой времени“»⁴⁰.

Может быть, кто-нибудь возразит (предвидит Данте), что власть римских императоров основывалась не на постановлениях вселенского собора, не на требованиях права, а просто на завоеваниях, на силе оружия. На это поэт отвечает: избрание императора — дело бога, но не

людей, не способных прийти к единодушию. Латиняне были отмечены господом, и сила их легионов явилась не причиной создания империи, а лишь орудием в руках небесного провидения.

Геориха VII Данте приветствует как преемника именно Цезаря и Августа, а не Барбароссы или Фридриха II. Данте не устает восхвалять античные времена, когда Италия была объединена, и Рим являлся центром великого государства — «камни стен его заслуживают поклонения, а земля, на которой он стоит, достойна людского почитания и восторга».

Но дальнейший ход истории не удовлетворяет Данте. Папы присвоили себе светскую власть, Италия утратила мир и единство, императоры стали пренебрегать своей миссией. О средневековых императорах Данте заговаривает несравненно реже, чем об античных, и обычно — недоброжелательно⁴¹. Он не упоминает об Оттонах, о франконской династии, бросает на ходу едва ли не прощальное замечание о «добром Барбароссе», «от которого все еще скорбит Милан». Сочувственно описывает Манфреда, популярного даже среди врагов героя-мученика, но Фридриха II помещает в ад, полемизируя с ним в «Пире» и несколько раз дурно отзываясь о нем в «Комедии»: «в краю, где струятся По и Адидже, обретались доблести и благородство, прежде чем Фридрих начал смуту». Всех германских императоров, правивших после 1250 г., Данте вообще не признает, считая, что Фридрих II был «последним».

Поэт нестерпимо обрушивается на Рудольфа Габсбургского и Альберта Австрийского именно за то, что они, бросив на произвол судьбы Италию, были, по существу, германскими императорами. Но Данте требует, чтобы центром империи стала, как в античные времена, Италия — «славный Рим». Традиционное представление средневековья он хочет превратить из юридической фикции в политическую реальность. Ибо именно Италия — «сад империи», и она должна вновь превратиться в «госпожу провинций». Не германским князьям, а только римскому народу — *la romana gente* — принадлежит право избрания императора.

И ты, Альберт Немецкий, ты, который
Был должен утвердиться в стреланах
... да грянут скорой

И правой карой звезды в небесах
На кровь твою, как ни на чью доселе,
Чтоб твой преемник ведал вечный страх!
Затем, что ты и твой отец терпели,
Чтобы пустышей стал имперский сад,
А сами, сидя дома, богатели. . .
Приди, взгляни, как сетует твой Рим,
Вдова, в слезах зовущая супруга:
«Я Кесарем покинута мной!»

И не менее гневно Данте говорит о «кесаре Рудольфе», который «пренебрег своим долгом, хотя мог излечить язвы, погубившие Италию». Италия, Италия — вот основа всех политических концепций Данте.

«Желая образно разъяснить смысл императорской власти, я могу сказать, что император является как бы всадником, взнуздывающим человеческую волю. Что получается, если эта лошадь мчится по полю без всадника, достаточно обнаружилось — и особенно в несчастной Италии, которая лишена императорского управления»⁴². И та же самая патриотическая нота звучит во всем, что вышло из-под пера Данте. «О бедная, бедная родина моя! Какая боль за тебя сжимает меня каждый раз, когда я читаю, каждый раз, когда я пишу что-либо относящееся к гражданскому управлению»⁴³.

В послании к Италии по случаю похода Генриха VII Данте восклицает: «Возрадуйся же ныне, несчастная Италия. . . ибо жених твой, утешение всего мира и слава твоего народа, всемилостивейший Генрих, божественный, августейший и цезарь, спешит к брачному обряду. Осуши слезы и сотри следы скорби, прекраснейшая; ибо близок тот, кто освободит тебя из темницы. . . И если что уцелело еще от семени троянцев и римлян, да воссядет он. . . Пробудитесь же и восстаньте навстречу своему повелителю, обитатели Италии. . .» А в послании «к кардиналам Италии» Данте, требуя, чтобы папой был избран итальянец и чтобы папская курия была возвращена из Авиньона в Рим, заявляет: Рим, «глава Лациума, общая колыбель нашей гражданственности, дорог для всех итальянцев»⁴⁴.

Так повсюду у Данте из-под покрова размышлений о «всемирной монархии» выглядывает требование национального единства. Но именно потому, что национальная

идея наталкивалась в Италии дантовских времен на неодолимые преграды, и обрядилась она в одежду всемирной монархии, а не высказалась прямо.

Одной из самых трудных преград являлось светское могущество папства. Данте понял это за двести лет до Макнавелли. Его идея всемирной монархии (об этом будет дальше сказано подробнее) по существу своему направлена против папства. Как можно было в тогдашних условиях лишить пап светской власти (а это лейтмотив политических высказываний поэта)? Что можно было противопоставить гигантскому авторитету всемирной «духовной монархии», претендовавшей на светское господство? Только не менее древний авторитет тоже всемирной, но светской монархии.

Энгельс отметил эту существеннейшую сторону утопии Данте: «... в Италии папская власть — препятствие национальному единству и в то же время она выступала, часто только для видимости, в роли его представителя, однако вела она себя так, что Данте, например, все же видел спасителя Италии в чужеземце-императоре»⁴⁵.

Таким образом, Данте попытался, выдвигая идею всемирной монархии, решить две важнейшие, нераздельные задачи, поставленные историческим развитием Италии: уничтожение светской власти пап и создание национальной монархии. Это доказывает, что фантастичная по форме утопия Данте чрезвычайно реалистична и глубока по своему объективному содержанию. Данте мечтал о преобразованной империи, не имеющей ничего общего с реально существовавшей тогда убудочной монархией преемников Оттона I. Священная империя должна была утратить свой наполовину немецкий, наполовину космополитический, призрачный характер и осуществить реальное объединение всего христианского мира, даровав ему покой и счастье. Но не удивительно, что поэт имел в виду прежде всего родную страну. Как часть христианского мира в рамках этого всеобщего единства обрела бы единство и Италия — сердце империи. Политическая мысль Данте поневоле стремится к цели кружным путем, но все-таки христианская, абстрактная оболочка утопии не должна затемнять для нас ее национальных, конкретно-исторических истоков. Как ни номинальна была власть германских императоров над Италией, все же она оставалась достаточно сильной, чтобы исключить создание на ее

месте национальной монархии. Такую же роль играла теократия римской курии. Вопреки одновременно и папству, и империи объединение было немыслимым. Вот те конкретные политические условия, в которых родилась надежда сокрушить папство при помощи империи, превратив ее в орудие национальной консолидации.

Несбыточная надежда! Но подобная трансформация Священной империи казалась тогда единственным, в какой-то степени возможным конкретным путем к объединению Италии. Не случайно же обращение Данте к «чужеземцу-императору» являлось выражением традиционной линии развития передовой политической мысли Италии. Данте имеет здесь такого предшественника как Арнольд Брешианский. Этот революционный представитель итальянского бюргерства предлагал Конраду III принять императорскую корону не из рук папы, а из рук римского сената; после отказа Конрада Арнольд в 1152 г. стал добиваться, чтобы римляне сами избрали императора. Поход Генриха VII приветствовали вместе с Данте такие люди, как Дино Компаньи, Чинно да Пистойя, Феррето деи Феррети, Джованни да Черменато и Альбертино Муссато — типичные пополанские и притом передовые идеологи. Данте — один из них, хотя и самый глубокий и страстный.

Показательно, что миланский нотариус Джованни да Черменато, писавший свою «Историю», очевидно, совершенно независимо от дантовской «Монархии», прибегает к сходной аргументации. Опыт миланской истории подсказывает ему те же мысли, которые были внушены Данте или Компаньи опытом истории флорентийской. «Конечно, никакого мира и согласия не будет в народе, стремления коего не направляются в рамках правосудия единой волей к общему благу, которое достигается только единообразием действий и зависит от единства народной воли. И это единство человеческого рода, поистине, лишь тогда обретается в благом состоянии, когда его счастливо осуществляет властитель и монарх, дающий своим подданным святые законы, которые при тщательном их соблюдении служат связующими узлами человеческого общества». И миланский нотариус во имя мира, единства и правосудия приветствует мировую власть римского императора, «справедливое управление», дабы «род человеческий» (а проще говоря Италия) «обретался в мире и здравии». «Один творец всего — бог, один папа и один император»⁴⁶.

Недавние исследования дали возможность пополнить перечень современников-единомышленников Данте именами членов раннегуманистического кружка в Вероне — Бенцо д'Алессандриа и Джованни Манспонарьо, возможно, лично знавших поэта. В этот же перечень следует включить францисканца Пьер Джованни Оливи и доминиканца Ремиджо Джиролами, который в трактате «О благе мира» требовал, чтобы церковь была лишена богатств и светской власти, а все частные интересы подчинены интересам всеобщим, выраженным в монархии⁴⁷.

Идеи, которые сеял Данте, дали вскоре новые замечательные всходы в трактате Марсилия Падуанского, само название которого («Защитник мира»), по справедливому замечанию итальянского историка А. Сольми, сразу же указывает, что сохранена главная мысль Данте. Для Марсилия его Генрихом VII был Людвиг Баварский (использовавший, кстати, «Монархию» Данте). Мы находим у Марсилия знакомые уже соображения о необходимости империи для мира и счастья народов и о вреде светского могущества церкви. Уже Данте заявлял, что император «слуга всех» и что «не народ ради царя, а царь — ради народа»⁴⁸. Марсилиус Падуанский сделал новый шаг вперед, обосновав императорскую власть не божественной волей, как это было у Данте, а волей «народа», понимаемого, разумеется, в очень широком и неопределенном смысле.

Затем мы слышим те же призывы к императорам из уст Петрарки. А 1 августа 1347 г. в эдикте вождя восставших римлян Кола ди Риенцо мы находим выражения, которые выглядели бы очень естественно в «Пире» или в «Божественной комедии»: «...святой город Рим является главой всего мира и опорой христианской веры... Все граждане итальянских городов — отныне граждане Рима... Право избрания римского императора, право издания новых законов и управления всей священной римской империей принадлежит одному лишь только Риму и его народу вместе со всей святой Италией... Мы желаем вернуть родину к прежней ее античной славе»⁴⁹.

Конечно, все это очень разные исторические фигуры: Арнольд Брешианский, Данте, Компаньи, Муссато, Чино да Пистойя, Марсилиус Падуанский, Петрарка, Кола ди Риенцо. Но они все — лучшие люди Италии, представители ее прогрессивных общественных слоев, отразившие

интересы коммуни. И всех их связывает одна мечта: Рим во главе человечества. Италия мирная, объединенная и счастливая. И все они видят лишь один путь к национальной монархии — через всемирную империю.

«Не народ ради правителя, а правитель ради народа»

Природа человека, обладающего бранным телом и бессмертной душой, двойственна. Поэтому человек «создан ради двух целей, из коих одна составляет его цель, поскольку он преходящ, а вторая — поскольку он непреходящ. Неизреченное провидение вложило поэтому в человека стремление к двум целям: а именно — к блаженству этой жизни, которое осуществляется посредством упражнения собственных сил и представляется в виде земного рая, и к блаженству вечной жизни, состоящему в наслаждении созерцанием божества, которое не может быть достигнуто собственными силами, а только с помощью божественного озарения, и понимать его нужно как рай небесный. К этим блаженствам... надлежит идти различными путями. К первому — через философские учения, действуя при помощи моральных и интеллектуальных сил. Ко второму — через духовные учения, превосходящие человеческий разум...»⁵⁰

Так из учения Фомы Аквинского о разграничении философии и теологии Данте делает выводы, звучащие как будто вполне ортодоксально, а в сущности, заключающие в себе большую гуманистическую идею. В конце трактата Данте, правда, не преминул напомнить, что небесное блаженство все же выше земного, но оговорка, естественная в устах искренне религиозного человека, не меняет того факта, что Данте обе «цели» ставит рядом как равноправные: ведь это подтверждается всей его теорией равенства папы и императора.

Данте мало небесного рая. Должен быть создан рай на земле. Данте мало вечного блаженства. Человек рождается для счастья, и он должен быть счастлив в преходящей жизни. От самих людей зависит, добьются ли они этого. Пути к небесному раю непостижимы для разума, зато в силах человечества удобно устроиться на земле: пути к этому пролегают не через религию, а через поли-

тику, через лучшее общественное устройство. Таким устройством является всемирная монархия. Земной рай — империя, империя с Италией во главе. Схоластические рассуждения неожиданно оборачиваются конкретной политической доктриной. Благочестивые помыслы заслопятся горячей мечтой о счастье человечества. И перед нами возникают величественные очертания дантовской империи как социальной утопии. По словам Данте, порядок на этом свете должен следовать порядку на небесах. Но для нас ясно, что на самом деле, наоборот, рай, созданный могучей фантазией поэта, не что иное, как образцовая небесная империя, в которой господь и дева Мария изображают венценосную чету, а святые угодники — патрициев. Путешествие в потусторонний мир служит для мыслителя XIV в. тем же, чем для более поздних мыслителей будут служить путешествия в неизвестные страны, на неизвестные острова, где оказывается уже существующим тот справедливый общественный строй, который так трудно установить у себя на родине.

Как же представляет Данте будущую обновленную Римскую империю?

Империя необходима прежде всего для обеспечения всеобщего мира. Любой властитель стремится к новым завоеваниям. Но верховный монарх, владея всем, будет, естественно, свободен от подобных соблазнов. Он станет заботиться о подвластном ему человечестве. И «удержит королей в пределах их королевств, дабы между ними был мир». Так будут «устранены войны и их причины». И это принесет вожделенное счастье городам, семьям и каждому отдельному человеку⁵¹.

Только монарх может установить подлинное правосудие и справедливость. «Любите справедливость, судящие землю» — слова Библии должны быть претворены в жизнь повелителем мира. Их вычерчивают в воздухе сонмы блаженных обитателейрая, и последняя буква, возникающая из живых огней, принимает постепенно облик имперского орла. Гениальное воображение поэта помогает ему вести беседу с символической птицей, и Данте не может на протяжении трех песен «Комедии» исчерпать свое восхищение «прекрасным образом, вмещающим в себе веселье душ, в котором словно солнце отражалось». Неизмеримо возвышаясь над всеми, император будет лишен каких-либо частных, партийных побуждений. Обладание всей

мощью высшей власти над людьми и вещами избавит императора от зависти, гордости и корыстолюбия. Чего ему останется желать?

«Благое провидение вечного царя, который... не оставит нас и не пренебрегнет нашим ничтожеством, установило порядок, по которому человеческими делами должна управлять святая Римская империя, дабы смертный род под такой защитой пребывал в безмятежном покое и дабы повсеместно жил гражданственно, как того требует его природа»⁵². Слова насчет протivoестественности разобщения людей, гражданственности, мира, правосудия, общего покоя и счастья встречаются у Данте на каждой странице, когда он пишет об империи. И это, разумеется, не просто слова: Данте выносил их под сердцем. Ссылаясь на Аристотеля, поэт высказывает удивительную мысль: хороши или плохи люди, зависит от политического строя. В условиях империи «все люди станут добродетельны, что недостижимо при дурных правителях»⁵³. В империи воплощаются для Данте все его общественные идеалы. Все — в империи и через империю. Только от нее ждет поэт социальной гармонии.

Те, что в стихах когда-то воспевали
Былых людей и золотой их век,
Быть может, здесь в парнасских снах витали:
Здесь был невинен первый человек,
Здесь вечный май...⁵⁴

Это — земной рай, тот самый, из которого были изгнаны Адам и Ева, тот самый рай, который Данте хотел бы вернуть усталому человечеству посредством всемирной монархии. Небо в «святом краю», по рассказу поэта, чище, воды — прозрачней, травы — свежее, леса — гуще. Но ветер шумит здесь среди ветвей точно так, как в сосновом бору близ Равенны, где любил бродить стареющий изгнанник...

Мы уже видели, что Данте надеется достичь земного рая с помощью философии. В той же главе «Монархии» утверждается определенной: «...император, следуя философии, направит человеческий род к мирскому блаженству»⁵⁵. Эти высказывания не случайны у Данте. В «Пире» мы находим развернутую теорию просвещенной монархии.

Тогдашних государей Италии и Европы никак нельзя было счесть просвещенными. Данте заговаривает о них

часто — и всегда с желчью. Слово «cortesia», обозначающее достойное и учтивое обхождение, происходит, объясняет поэт, от «corte», т. е. двор. «Ибо при дворах в старину водились добродетели и прекрасные нравы». «Нынче же поступают наоборот... нынче это слово не имеет ничего общего с дворами, особенно в Италии». Если теперь производить этическое понятие от слова «двор», то оно могло бы обозначать только «подлость»⁵⁶. «О проклятые негодяи, разоряющие вдов и сирот, грабящие слабых», — вот привычные выражения, в которых Данте обращается к «врагам господа», к Федерико Арагонскому или к Карлу Анжуйскому и «к вам, прочие князья и тираны»⁵⁷.

Зато император, которого ждет Данте, должен быть наделен всеми достоинствами, столь недостающими нынешним властителям. «Каждый подлинный государь повинен превыше всего любить истину». Но истиной владеет философия. Поэтому монарху надлежит действовать в соответствии с философией, или изучив ее самолично (и будучи, таким образом, философом на троне), или слушая советы философов. (Позже мы увидим, что Данте попытался — увы, безуспешно — сыграть подобную роль советника и наставника при Генрихе VII Люксембургском).

Авторитет философии стоит рядом с авторитетом империи, «не противореча ему». Императорская власть, не руководствующаяся философией, «опасна»; философия без императорской власти — «словно немощна, не сама по себе, но из-за людского неустройства». «Объединив свои силы, они становятся полезнейшими и совершенными... Возлюбите свет знания, вы все, что возвышаетесь над народами... Да соединится философский авторитет с императорским во имя благого и совершенного управления»⁵⁸.

Так перед нами возникает учение об идеальном союзе философии и монархии. В сознании Данте императорская власть не только совместима со свободой, но и является ее необходимой предпосылкой. «Свобода... есть величайший дар человеческой природы, ниспосланный богом... ибо она наделяет нас счастьем в этом мире как людей, и в том мире — как богов. Если это так, кто не скажет, что человеческий род обретается в наилучшем состоянии, когда может наиболее полно пользоваться ею? Но только

под властью монарха он в наибольшей степени свободен». Ибо ведь «не граждане ради консулов, а консулы ради граждан, не народ ради правителя, а правитель ради народа». «Отсюда же ясно, что консул или правитель, если речь идет о пути, — господа других, но если речь идет о цели, — слуги других, и в наибольшей степени монарх, который есть слуга всех»⁵⁹.

Эти мысли доказывают, говоря словами старого немецкого историка Ф. Шлоссера, «что идеалом Данте не была какая-нибудь турецкая империя»⁶⁰. Определяя свободу, как «существование благодаря самому себе, а не чужой милости», Данте утверждает, что именно империя позволит человечеству жить исключительно ради собственного блага. Если отбросить схоластическую оболочку, то, в сущности, перед нами обоснование того, что только национальная монархия отвечает интересам итальянского народа.

«Весь мир, лишенный светоча Августа, сиротеет, гребцы и кормчие в челне Петра спят, и бедная Италия, одинокая, брошенная на волю частного произвола, лишенная всякого общественного кормила, настолько сотрясаема ветрами и бурями, что и не выразить словами, и не считать слезы несчастной Италии»⁶¹. И Данте обрушивается на причину «частного произвола» — многовластие. «Многовластие есть зло». В конце пяти глав «Монархии», как настойчивый рефрен, повторяется одна и та же фраза — призыв к единству, воплощенному в империи.

В ликвидации политической раздробленности Италии Данте усматривает «корень согласия» между людьми, иначе говоря, не только внешний, но и внутренний, социальный мир в городах, жители которых «грызутся, одной стеной и рвом окружены».

В своих письмах Данте с величайшим негодованием обличает сепаратизм правящих кругов Флоренции, которая «со свирепостью змеи стремится растерзать тело своей матери, направляя рога восстания против Рима, создавшего ее по своему образу и подобию»⁶². Обращаясь к флорентийцам, Данте восклицает: «Уж не хотите ли вы в ослеплении, как новые вавилоняне, пренебречь святой империей ради нового государства своего, дабы одно государство называлось Флорентийским, а другое — Римским?»⁶³ Но, требуя национального единства, Данте представляет себе «единство» своеобразно. И здесь мы под-

ходим к существеннейшей стороне его утопии. Неизменно — и в «Пире», и в «Монархии» — Данте отмечает, что в грядущей империи коммуны получают самоуправление, а государи останутся на своих тронах. «С другими властителями соприкасается часть людей, а с монархом — вся их совокупность. Вместе с тем, другие властители соприкасаются с людьми через монарха и не иначе; и поэтому монарху прежде всего и непосредственно присуща забота о всех, другим же властителям эта забота присуща лишь в зависимости от монарха, пронстекая от его, высшей заботы».

И еще: «...то, что монарх говорит, есть закон для всех... и всякое иное правление обретает авторитет и силу в его правлении»⁶⁴.

Таким образом, дантовский всемирный император, будучи высшим властителем, отнюдь не является властителем единственным. Он — «правитель всех правителей».

В «Монархии» Данте разъясняет, кого он имеет в виду, говоря о «других властителях». Установление всемирной империи приведет к исправлению порочных, выродившихся форм государства — демократий, олигархий и тираний (по классификации Аристотеля), — «которые влекут в рабство человеческий род», и к преобразованию их в нормальные государственные формы, способные обеспечить общественное благо. И Данте, опять-таки повторяя известную схему Аристотеля, указывает: «будут править короли, аристократы, которых называют еще оптиматами, и ревнители народной свободы»⁶⁵.

Затем поэт подробно останавливается на вопросе о взаимоотношениях между римским императором и всеми этими королями и республиками: «... когда говорится, что человеческий род может управляться лишь одним высшим владыкой, то это не следует понимать так, что им одним должны решаться непосредственно наименьшие дела какой-либо муниципии; но ведь и муниципальные законы имеют недостатки и требуют направляющего начала... Народы, королевства и города отличаются друг от друга, и надлежит править ими при помощи разных законов. Ибо закон — есть путеводная нить жизни. Иначе, конечно, следует управлять скифами, живущими за седьмым климатом, испытывающими большое неравенство дней и ночей и страдающими от невыносимого холода и морозов, иначе — гарамантами, которые живут в черте равноден-

ствия... Это должно быть понимаемо так, что человеческий род, управляемый им (императором) в соответствии со своей общностью и общими законами, направляется к миру. Эти общие законы или правила должны получать от императора отдельные правители... И не только возможно, но и необходимо исходить из единого, дабы избежать всякого нарушения всеобщих принципов. И Мопсей пишет в законе, что поступал так: предоставлял принимать менее значительные решения главам колен детей Израиля, а решения высшие и общие оставлял только себе самому, и эти общие решения старейшины применяли в своих коленах, в соответствии с тем, что надлежало каждому колену»⁶⁶.

Это самое обширное, но далеко не единственное высказывание Данте об автономии отдельных государственных образований внутри будущей империи. В «Монархии» можно встретить рассуждения о том, что император должен действовать на основе законности и в ее рамках, что императора нельзя отождествлять с империей, т. е. его действия должны отражать сущность и назначение империи как идеального политического строя и не могут вступать в противоречие с этой сущностью (например, император Константин не имел права «подарить» папам Рим). Данте заявляет, что «основание империи — человеческое право» и что «империи непозволительно делать что-либо против человеческого права»⁶⁷.

Для полноты картины заглянем еще в «Пир»⁶⁸. Там мы прочтем: «Дабы всеобщее единение человеческого рода было совершенным, нужен как бы кормчий, который, учитывая различные условия в мире и учреждая различные необходимые образы правления, обладал бы общей и неоспоримой властью над всеми». В другом месте Данте подчеркивает, что «могущество императора обладает юрисдикцией, вне пределов которой оно не может распространяться». И даже перечисляет законы, которые волен учреждать император: о браке, о родонаследовании, о слугах, о воинском деле. «Во всем этом мы безусловно и вне сомнений подчинены императору». Но когда дело доходит до законов «естественного права», нужно исходить не из воли императора, а из человеческой природы, истолкованной философами.

Вспомним, в условиях тогдашней Италии далеко не всякое объединение было возможно и приемлемо для го-

родов. В теории Данте, очень чутко улавливавшей и фантастически преломлявшей требования исторической обстановки, отразилась и эта особенность развития страны. Сила итальянских городов сказалась в утопическом соединении всех преимуществ центральной власти со всеми прелестями коммунальной свободы.

Теория всемирной империи могла возникнуть лишь в городском воздухе. В конечном счете именно интересами пополюнов вдохновлялась мысль Данте о некоем справедливом и могучем монархе, который, не затрагивая коммунальных вольностей, будет сверху следить за порядком и охранять тишину. Некая нейтральная, беспристрастная сила, обеспечивающая социальную гармонию⁶⁹.

Дантовская утопия есть проявление, так сказать, средней равнодействующей всех прогрессивных элементов Италии.

Сам Данте был уверен, что заботится обо всем человечестве. Объективно же красивая абстракция, придуманная Данте, могла вылиться только в просвещенную буржуазную монархию⁷⁰. По сути, она была ее предвосхищением.

«О, род человеческий! Сколькими грозными и потерями, сколькими кораблекрушениями будешь ты волнуем, пока, сделавшись многоголовым чудовищем, стремишься к различному... хотя звучит тебе в трубном гласе духа святого: „Вот, как хорошо и чудесно, когда братья живут в единении“»⁷¹.

«Местом торга сделан храм»

Когда Данте взялся за перо, чтобы написать свой трактат во славу светской монархии, он должен был, конечно, тщательно обдумать историю политических притязаний папства и прежде всего недавние факты, еще совсем свежие в памяти современников. Покойный папа Бонифаций VIII сделал сумасбродную идею мирового господства римской курии практическим руководящим началом своей деятельности. Данте не мог не вспомнить, как еще в 1296 г. Бонифаций вновь провозгласил эту старую излюбленную доктрину папства в булле «Клерпис лайкос», впервые приведшей Бонифация к столкновению с Францией. Данте не мог не вспомнить, как

в 1300—1301 гг. Бонифаций особенно настойчиво вмешивался во флорентийские дела, заявив в письме к флорентийскому епископу о своей верховной власти над Флоренцией, Тосканой и вообще над всеми смертными. Данте в те годы стал — и на всю жизнь остался — активным борцом против папства.

Поэт мог вспомнить и о том, как Бонифаций принял послов императора Альберта с диадемой Константина на голове и заявил им: «Разве я не являюсь высочайшим понтификом? Разве это не престол Петра? Разве я не могу распоряжаться правами империи? Я — Цезарь! Я — император!» А знаменитая булла «Унам санктам», оглашенная в ноябре 1302 г.! Центральная мысль буллы опять-таки заключалась в том, что «оба меча, т. е. духовный и светский, — во власти церкви»⁷².

Правда, столкнувшись с национальной французской монархией, папство обнаружило беспочвенность своих далеко идущих планов. Небольшой отряд во главе с Шарра Колонна и Гильомом Ногаре, посланцем Филиппа IV, пленил Бонифация в городке Ананьи, причем Ногаре нанес папе пощечину железной рыцарской рукавицей. Пощечина в Ананьи стоила Каноссы. Бонифаций умер в 1303 г., не выдержав потрясения, а через шесть лет папский престол, перенесенный в Авиньон, стал привеском к французскому трону.

Но папство отнюдь не перестало после этого быть препятствием на пути к объединению Италии и не рассталось с доктриной всемирного господства. В 1307 г. новый папа Климент V провозгласил, что булла «Унам санктам» имеет силу повсюду, кроме Франции. Зависимость папы от французского двора, стремившегося к расчленению и завоеванию Италии, лишь усугубляла антинациональный характер папства. Ненависть Данте к папству переплеталась с не менее жгучей ненавистью к французской монархии, к Филиппу Красивому и его брату Карлу Валуа.

Когда в Италию вступил Генрих VII, папа, на первых порах приветствуя его, подчеркнул, однако, верховенство церкви над империей.

И Данте занялся вопросом о взаимоотношениях между церковной и светской властями, между папством и империей — этому посвящена вся третья, заключительная часть трактата «О монархии».

Трактат Данте, несомненно, явился сознательным ответом на буллы Бонифация и Клементя (мы находим в нем опровержение не только общей концепции, но и некоторых конкретных богословских аргументов этих булл), а также на теократическое учение Фомы Аквинского или произведения болонских церковных юристов.

Буржуазные ученые всегда особенно интересовались идеологическими источниками дантовского трактата, его литературными предшественниками. Конечно, Данте опирался на давние традиции политической мысли, связанные с вековой борьбой папства и империи. Когда Данте был еще ребенком, английский монах Роджер Бэкон указывал на необходимость разделения меча материального и меча духовного между «справедливым государем» и «справедливым папой». Очевидно, Данте был знаком с такими произведениями конца XIII—начала XIV в., как сочинение немецкого писателя Георга Осабрюка «О правах Римской империи», как анонимный трактат «Рассмотрение „за“ и „против“», в котором провозглашалось божественное происхождение светской власти, обличался «дар Константина» и отвергалось ставшее после Иннокентия III традиционным сравнение папы и императора с солнцем и лупой; или другой анонимный трактат — «Спор между клириком и рыцарем», в котором те же идеи излагались в живой форме непринужденного диалога; или труд аббата Энгельберта фон Альмонда «О существовании и конце Римской империи»⁷³.

Во всех этих произведениях можно найти мысли и аргументы, сходные с дантовскими. Но главное не в том, насколько оригинальна или традиционна логическая аргументация Данте (а в ней есть и преемственные, и свежие черты). Важнее другое: какие реальные политические идеи скрывались за этой аргументацией. Нельзя забывать, что утопия Данте выросла на совершенно определенной исторической почве и что поэтому сходство между флорентийским изгнанником и теми, кого считают его литературными предтечами, не идет порой дальше внешних и частных совпадений. Например, многие исследователи любили сравнивать Данте с французскими юристами начала XIV в. (например, с Пьером Дюбуа), подробно разработавшими антипапскую теорию суверенитета светской власти. Данте должен был знать их произведения, в том числе и трактат Дюбуа «Об отвоевании

святой земли». Но они протестовали против теократии ради совсем иных конкретных политических задач, чем те, которые стояли перед Данте. Апологет французской монархии, Пьер Дюбуа, естественно, выступал против всемирной империи. Зато он предлагал установить господство Франции в Европе, подчинить ей Испанию, Англию, Венгрию и прежде всего Италию. Дюбуа советовал Филиппу Красивому покорить Геную и Венецию и даже определял точное количество войск, необходимое для захвата Ломбардии.

Дантовский трактат был направлен поэтому не только против булл Бонифация, но и против националистических теорий французских легистов. Несхожесть судеб двух стран обусловила прямо противоположное отношение к империи, не говоря уже о других коренных различиях между взглядами Дюбуа и несравненно более глубоким и многогранным мировоззрением Данте.

В основу «Монархии» поэт положил учение о полном разделении светской и духовной власти. Император не зависит от папы и обретает свой авторитет непосредственно от бога. Дело папы — заботиться исключительно о духовном спасении людей и вести их к вечному блаженству, не вмешиваясь в мирские отношения, в политику. Все земное подлежит одной лишь юрисдикции императора. Знаменитому афоризму Иннокентия III Данте противопоставляет сравнение императора и папы с двумя разными солнцами. Когда-то оба солнца сияли дружно,

так что видно было,
Где божий путь лежит и где мирской.
Потом одно другое погасило;
Меч слился с посохом, и вышло то,
Что это их, конечно, развратило ⁷⁴.

Спасительной, таким образом, оказывается нехитрая формула: «богу — богово, а кесарю — кесарево».

Но католик Данте отнюдь не отказывается от глубокого почтения к папскому престолу ⁷⁵. В Чистилище поэт неожиданно становится на колени перед казнимым за жадность Андрианом V, так что даже сама грешная душа папы недоумевает: «Почему ты так склонен?» И получает ответ: «Таков ваш сан великий, что совестью я, стоя, уязвлен». Насколько глубоко въелось в ум Данте

чисто средневековое благоговение перед «наместником Христа», показывает его возмущение «страшным злодеянием» в Апапьи; речь идет об унижении ненавистнейшего врага Данте — Бонифация VIII, но папская тиара священна в глазах Данте, на чьей бы голове она не находилась.

С другой стороны, папы ведь были врагами империи, и Данте мучает их в аду, не жалея красок фантазии, причем особенно достается тому же Бонифацию, которого ожидает огненная яма. И страстные обличения сопровождаются характерной оговоркой, что, дескать, лишь уважение к святости самого папского сана несколько умеряет «суровые речи»⁷⁶.

Данте не был бы сыном своего времени, если бы не закончил трактат во славу светской власти словами: «Эту истину не следует истолковывать в таком узком смысле, что римский император ни в каком отношении не должен подчиняться римскому первосвященнику, ибо земное блаженство определяется известным образом блаженством вечным. Итак, да окажет Цезарь Петру то почтение, которое перворожденный сын должен оказывать отцу, дабы просвещенный лучами отеческой милости, он искуснее освещал землю, над которой поставлен тем, единым, кто есть правитель всего духовного и мирского»⁷⁷.

Так пытается Данте примирить мечту о счастливой и объединенной Италии со своей католической совестью.

Нетрудно, однако, заметить, что эта оговорка несколько не умаляет основной идеи Данте. «Сыновнее почтение» императора по отношению к папе ограничивается духовной, религиозной сферой и носит вполне платонический характер. «Отеческие» функции папы сводятся лишь к тому, чтобы благословлять абсолютно суверенную светскую власть императора, проистекающую — и тем заканчивается трактат — прямо от бога, в котором сливаются духовное и материальное начала.

Данте преклоняется перед римской церковью и папством как идеальным принципом, но неистово обличает реально существовавшие церковь и папство. Обращаясь в 1316 г. к итальянским кардиналам, поэт заявлял, что его голос — «единственный благочестивый голос, звучащий как бы на тризне матери-церкви». «Разве не так? Все — и вы в том числе — избрали себе в супруги алчность, которая всегда порождает не благочестие, справед-

ливость и милосердие, но жестокость и вражду». Церковь сошла с начертанного Христом пути, «и, если ныне итальянцы поражены горем, бедствуют и покрыты стыдом, то кто же усомнится, что это вам, — пишет Данте кардиналам, — вам следует горевать, ибо вы были причиной столь неслыханного затмения солнца». Все это замечательное послание проникнуто мыслью, что церковь погибла, и возрождение ее должно стать одновременно национальным возрождением: «мужественно боритесь за невесту Христову, за престол сей невесты, коим является Рим, за нашу Италию... дабы позор гасконцев, сжигаемых свирепой алчностью и стремящихся присвоить себе славу латинян, остался во веки веков примером для грядущих поколений»⁷⁸.

В «Комедии» Данте называет столь чтимый им апостольский престол «кровавой и грязной клоакой». И не устает повторять, что церковь погрязла в богатстве, выродилась, задыхается от алчности.

«Местом торга сделан храм, из крови мук возникший нерушимо» — вот самое главное, самое страстное обвинение поэта. Чтобы вновь и вновь высказать его, Данте строит в загробном царстве десятки сцен, искусно разнообразя декорации⁷⁹.

Перед нами, например, огненная скважина ада, набитая корыстолюбивыми папами. Сверху торчит головой вниз Николай III, который со стонами признается: «Я так жадно копил добро, что сам в кошель зажат». И Данте спешит «в речах излиться громогласных»: «Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных... серебро и золото — ныне бог для вас». Грешный папа, слушая поэта, корчится и дрыгает ногами («совестью иль гневом уязвленный»), а Вергилий улыбается,

Как бы довольный тем, что так правдив
Звук этой речи, мной произнесенной.

Что касается монахов, то Данте эффектно предоставляет возможность высказаться самому Бенедикту, основателю древнего монашеского ордена:

Те стены, где монастыри цвели, —
Теперь вертепы; превратились рясы
В дурной мукой набитые кули.

Именно после рассуждений Бенедикта о забвении нынешней церковью заветов евангельской бедности («белый цвет стал черным») Данте горько и отрешенно вглядывается с высоты небес в наш жалкий земной шар.

Еще резче изъясняется почтенный богослов Дамьяно: разжиревший монах, еле взгромоздившийся на копя, и конь, покрытый широченной монашеской рясой — это «два скота под одной и той же шкурой». «Терпенье божье, скоро ль час расплаты!» — восклицает богослов. Окружающие собеседников райские святые души испускают в ответ страшный вопль. «Слов я не понял; так был гром велик», — признается поэт. Но прекрасная Беатриче поясняет: в этом крике

Предвещалось мщенье, чей приход
Ты сам еще увидишь смертным взором.

Данте, как и все его современники, верил в церковную легенду, подкрепленную фальшивой грамотой, изготовленной в VIII в.⁸⁰ Легенда гласила, что император Константин, перенеся столицу на Восток, якобы вручил папе Сильвестру в знак благодарности за свое чудотворное исцеление власть над Римом. Данте не был знаком с текстом «дара Константина», но отрицал его юридическую правомочность. «Дело это гибель в мир внесло!» «Дар», по мнению поэта, — роковая ошибка, начало и причина упадка христианства.

Уже немецкий поэт Вальтер фон Фогельвейде своеобразно дополнил легенду — оказывается, когда Константин преподнес папе опрометчивый дар, некий ангел громко возгласил: «Увы, увy и еще раз увy!» У Данте в «Чистилище», когда аллегорически изображается «дар Константина», тоже звучит голос с небес: «О челн мой, полный бремени дурного». Но Данте не удовлетворяется и этим. Он объявляет, в конце концов, «дар» вторым грехопадением! «О божий суд, восстань на нечестивых!» Ибо поэт убежден, что мирская власть и богатства противоречат самой сути религии⁸¹. «Невеста божья не затем взросла . . . чтоб золото стяжалось без числа». Данте отвергает церковную десятину. Он заявляет:

Все, чем владеет церковь, — искони
Наследье нищих, страждущих сугубо.

Он ссылается на Евангелие: «Не имейте ни золота, ни серебра, ни денег в поясах ваших, ни сумы для странствования». «И хотя у Луки имеется ограничение этого запрета в отношении известных предметов, но я не мог обнаружить, чтоб церковь после этого запрещения получила позволение владеть золотом и серебром. . . Наместник божий может принимать не во владение, а только для церковной раздачи бедным во Христе, что, как известно, делали апостолы».

Данте противопоставляет современной церкви церковь времен раннего христианства. «Отцы церкви» «искали бога, как конечное и лучшее, эти же стремятся только к доходам и бенефициям». В своей ненависти к хищному и порочному духовенству Данте заходит так далеко, что изображает церковь в виде апокалиптического зверя с восседающей на нем блудницей — папством.

Все это сильно отдавало ересью. Как отмечает Энгельс, «когда окрепло бюргерство, в противоположность феодальному католицизму развились протестантская ересь, сначала у альбигойцев, в Южной Франции, в эпоху высшего расцвета тамошних городов». Рядом с альбигойцами Энгельс ставит итальянца Арнольда Брешианского, боровшегося в XII в. против папства (некоторые высказывания Арнольда легко спутать с высказываниями Данте). «Ересь городов, — а она собственно является официальной ересью средневековья, — была направлена главным образом против попов, на богатства и политическое положение которых она нападала»⁸². Данте тоже, в духе бюргерской ереси, нападал на богатства и политическую власть церкви, проповедуя, кроме того, немало иных, явно еретических мыслей⁸³.

Например, Данте полагал, что церковное отлучение не отнимает надежд на вечное блаженство, ибо

Милость божья рада всех обнять,
Кто обратится к ней, ища спасенья.

Данте издевался над торговлей индульгенциями. Он высмеивал вздорные проповеди, читаемые с амвона: «Теперь в церквях лишь на остроты падки да на ужимки», «а Евангелие молчит». Поэт требовал возвращения к евангельской простоте и святости, страстно обвиняя церковь в искажении учения Христа. Он повторял распространен-

нейшие доводы чуть ли не всех еретиков — и катаров, и вальденсов, и поахимитов. Он поместил в рай осужденных церковью Иоахима Флорского и Сигерия Брабантского.

По существу, вольнодумством была уже сама необузданная фантазия, с которой Данте изобразил «географию» загробного царства, по-своему распределив муки и блаженства, по-своему истолковав их последовательность и основания. Ведь в католическом вероучении не было ни слова о том, что можно покинуть ад, спускаясь по телу сатаны, что чистилище — это огромная гора в южном полушарии, вздущаяся над Люцифером, и т. д. Лишь при очень независимом отношении (чтоб не сказать большего) к букве католицизма можно было посадить рядом с господом богом императора Генриха VII и Беатриче, дерзко сделав возлюбленную воплощением небесной мудрости.

Данте признался в «Комедии», что его не раз смущала мысль, которую он излагает так:

Родится человек

Над берегом Инда; о Христе ни слова
Он не слышал и не читал вовек;
Он был всегда, как ни судить сурово,
В делах и в мыслях к правде обращен,
Ни в жизни, ни в речах не делал злого.
И умер он без веры, не крещен.
И вот, он проклят; по чего же ради?
Чем он виновен, что не верил он? ⁸⁴

Конечно, Данте не мог додумать эту мысль до конца. Тогда он пришел бы к отрицанию церковных таинств. Тогда вышло бы, что можно быть истинным христианином и вне лона церкви. Тогда вышло бы, что церковь не нужна и даже вера не нужна, а дабы угодить богу и попасть в рай, достаточно быть «в делах и в мыслях к правде обращенным».

Данте далек от подобного вывода. Он отчитал самого себя устами мистического Орла. Но вот что любопытно. В ответ на весьма убедительное рассуждение о язычнике, «родившемся над берегом Инда», звучит следующее: «Искони пути господни смертным непонятны». И еще: «Когда бы вас писанье не смиряло, сомненьям бы не ведали числа». Значит, Данте просто почтительно склоняется

перед формальным авторитетом Библии. Но сомнение остается. Тем более, что Орел тут же неистово изобличает лжехристиан, которые в день страшного суда будут дальше от Христа, «чем те, кто не знал Христа». Именно здесь Данте перечисляет христианнейших королей Европы, которых вправе презирать эфиопы и персы...

Проблема была для Данте жгучей, ибо его все же беспокоила загробная судьба не эфиопов или индусов, а древних греков и римлян, творениями которых вскормлена его душа. Писание не разрешало впустить язычников в рай, но заточить в ад Вергилия, своего «отца и вождя», а с ним всех античных мудрецов и поэтов — Данте не в силах. К тому же что делать с крупными мусульманскими философами, Авверроэсом и другими? И поэт поселяет их всех в особый круг ада, где нет мучений и наказаний, где журчит родник и зеленеют деревья, где спокойно живущие души лишены только лицезрения бога. Вход в рай им прегражден, и внешне поэтом соблюдены догматические приличия католицизма, хотя и при помощи очередного рискованного вымысла. Добродетельные мусульмане и язычники, даже султан Саладин, мирно разгуливают по дантовскому Лимбу, в то время как римские папы и кардиналы осуждены на тягчайшие пытки.

Но Данте, обвинявший церковь в служении дьяволу, отнюдь не считал себя еретиком!

Он изобразил ересь в виде тощей лисы, трусливо крадущейся к величавой колеснице церкви. Он, как и Арнольд Брешпанский, с которым его сближает столь многое, не дошел до отрицания католической церкви и папства и требовал лишь их преобразования. По своему Данте последователен. Он ведь убежден, что строгое разделение светской и духовной власти должно сопровождаться гармоническим единением империи и папства. Когда-то, во времена Юстиниана, так и было⁸⁵. Но с тех пор «меч слился с посохом», вместо того, чтобы опираться друг на друга. Мир пришел к гибели, и для его спасения необходимо восстановить погранный идеал — возродить мощь империи и очистить церковь от скверны, в которую погрузил ее злосчастный «Константинов дар».

Таким образом, критика католической церкви, несмотря на отчетливый еретический привкус, приводит Данте как раз к прославлению этой церкви. Данте нападает на церковь во имя ее же принципов, забытых ею.

Он, поистине, больший католик, чем сам папа. Своей «Комедией» Данте воздвигнул в честь католичества такой величественный памятник, какого оно не заслужило у человечества.

Но что это доказывает? Лишь незрелость политической мысли Данте, не освободившейся еще от теологических пеленок, и — в конечном счете — незрелость раннебуржуазных отношений в Италии начала XIV в.

Конечно же, Данте был горячо верующим человеком. Иными словами, он был человеком своей эпохи. Он верил тогда, когда верили все — в том числе и еретики, сжигаемые на кострах. Вплоть до Лютера и Кромвеля религиозный язык оставался привычным языком политики и морали. Важна, однако, не традиционная идеологическая оболочка, важно иное: учение Дантешло вразрез с официальной религией и подрывало изнутри устои римской церкви. Католицизм, который воспевал Данте, оказывается при ближайшем рассмотрении идеальной церковью, отвечающей требованиям бюргерской ереси.

Апостол Петр в «Раю» строго допрашивал поэта об основах христианства, и Данте успешно выдержал экзамен. Успешно — в собственных глазах. Но не в глазах церкви. Кардинал Бертрандо дель Поджетто знал, что делал, когда в 1329 г. присудил трактат «О Монархии» к сожжению. Если верить Боккаччо, такая участь едва не постигла и прах поэта.

Примерно в том году видный доминиканец Гвидо Вернани сочинил «Опровержение „Монархии“, написанной Данте»⁸⁶. Автор «Опровержения» отзывался об «этом человеке» (так он неизменно именуется Данте) с откровенной ненавистью. Ибо в том, что представляется теперь некоторым дантологам поэтическими мечтаниями, Вернани видел практически опасную ересь. И показательно! — монах безошибочно наметил для нападения самые важные и самые смелые положения дантовской теории. Он негодует против монархии, против светского единовластия. Он возмущается мыслью, будто «римский народ» призван стать средоточием империи, обновив славу античных времен. Он протестует против крамольного размежевания «двух целей» — небесной и земной. Он обвиняет «этого человека» в слишком вольном обращении с каноническими текстами, во вредных для церкви умствованиях. И Вернани прав. Негодование церковника великолепно оттеняет

прогрессивный смысл дантовского трактата и вновь подтверждает связь религиозно-политических утопий поэта с конфликтами его страны, его эпохи.

В XIV в. церковные власти всячески стремились охладить энтузиазм, с которым относились к Данте все слои населения. В 1335 г. капитул доминиканцев запретил монахам ордена читать и комментировать книги поэта. Известный юрист Бартоло да Сассоферрато сочувственно замечал, что Данте «после смерти был как бы осужден за ересь, ибо церковь полагает, что империя зависит от нее». На Данте ссылались и на Данте нападали враги и приверженцы папства не только в XIV, но и в XV—XVI вв. В 1556 г. в Германии протестантские проповедники цитировали дантовский трактат, за два года до этого внесенный римской курией в «Индекс», т. е. перечень книг, которые запрещено читать католикам (кстати, «Монархия» была изъята из «Индекса» только в 1896 г.). В 1559 г. в Базеле появился немецкий перевод трактата, а Ганс Сакс написал о Данте восторженную поэму.

Подобно тому, как утопия Данте была фантастическим предвосхищением просвещенной национальной монархии, так его идеал отрешившейся от мирских забот, скромной и бедной церкви был одной из первых ласточек реформации. То, что такой идеал возник в голове убежденного католика, не только свидетельствует о сложности идеологии Данте, но и ярче подчеркивает назревавший кризис феодального клерикализма.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОТИВ АЧНОСТИ





«Волчица, от которой ты в слезах»

Мы уже отмечали трагизм мироощущения Данте. Замораживающий кровь рассказ Уголино не случаен в поэме, насыщенной до края картинами людской злобы, порочности и преступности. Если вспомнить, что воображение Данте всегда работает над жизненным материалом, над виденным и слышанным вокруг — станет понятнее неподдельный пафос трагических терций:

...теперь уже никто
Добра не носит даже и личину:
Зло и внутри, и сверху разлилось.

Что же это за «зло, заполнившее весь свет»? Жажда наживы. Яростная волчица, встреченная Данте в сумрачном лесу! Волчица,

чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе песет;
Немало душ из-за нее скорбело.

Волчица,

в чьем непасытном голоде все тонет
И яростней которой зверя нет!

«Комедия» звучит, как непрерывная анафема жадности, овладевшей сердцами. Даже озаряемый светом

райской розы, созерцая «воочью оба воинства небес», Данте не преминул с горечью упрекнуть современников: «...одуряет вас корысть слепая»¹.

Аллегорическая волчица — не что иное, как дух раннего капитализма.

Не нужно было обладать гениальной наблюдательностью флорентийского поэта, чтобы заметить, как жажда наживы завладела горожанами и аристократами, монахами и тиранами, наполнив, казалось, самый воздух Италии — этой «первой капиталистической нации».

Здесь нам придется совершить небольшой экскурс в историю флорентийской экономики².

* * *

С давних пор флорентийцы занимались сукноделием. Сначала это было исключительно производство грубых тканей из местной шерсти. Но уже к концу XII в. крупные купцы из корпорации Калимала, и ранее перепродававшие чужеземные сукна, принялись отдавать их предварительно флорентийским мастерам для окраски и улучшения. А это привело к неисчислимым последствиям.

В сукноделие вторгся торговый капитал. Ремесленники обрабатывали импортное сукно, доставленное из Фландрии или Франции, и выделывали дорогую ткань, которая сбывалась за сотни и тысячи километров от Флоренции. Между ними и рынком стал богатый купец, привозящий издалека полуфабрикаты, раздающий их в переработку и забирающий готовый товар. Ремесленники, подчиненные Калимале, уже не были знакомы с сукноделием в полном его объеме. Они лишь многообразно отделяли и окрашивали ткани. Это неизбежно способствовало закреплению их подчиненного положения, а с другой стороны — дальнейшей дифференциации труда в сукноделии и накоплению высокого технического опыта.

К исходу XIII в. на первое место выдвинулся «цех шерсти» Лана, славившийся шедшими на экспорт тонкими сукнами из испанской и североафриканской, позже — английской шерсти. Торговый капитал овладел теперь всеми стадиями сукнодельческого процесса. Тем временем флорентийские дельцы, объединившиеся в «компании», осваивали европейские рынки, кредитовали пап

и королей и накапливали огромные капиталы. С другой стороны, крестьяне флорентийской округи, получившие свободу, но не получившие земли, приходили в город и стучались в двери сукнодельческих мастерских Ланы или Калималы. Так исподволь возникали предпосылки мануфактурного развития. Купец и банкир превратился в предпринимателя. Нам, к сожалению, почти ничего не известно о конкретных формах и этапах этого превращения. Тем не менее на рубеже XIII и XIV вв. оно стало фактом.

Любая ранняя мануфактура, по словам Маркса, «возникает там, где происходит массовое производство на вывоз для внешнего рынка, следовательно, на базе крупной морской и сухопутной торговли». В частности, итальянский ранний капитализм не был явлением, вытекающим из развития всего общества, из готовности всего общества к новому шагу истории. Наоборот, условия для капитализма еще не созрели «в широком масштабе» и были ограничены «местными рамками», рамками отдельных крупных торговых центров и отдельных отраслей производства. В этом смысле флорентийской мануфактуре пришлось расти «в окружении, целиком относящемся еще к другому периоду»³.

Перед нами вырисовывается в целом рассеянная мануфактура, основу которой составлял труд ткачей, прядильщиц и других зависимых ремесленников на дому, в мелких и мельчайших мастерских. Однако множество важных операций выполняли наемные рабочие в центральных мастерских, служивших отправным и завершающим пунктом, своего рода организующей осью всего процесса. По крайней мере 12 раз сырье и полуфабрикаты путешествовали из центральных «боттег» к зависимым ремесленникам и обратно, прежде чем выйти после окончательной обработки из главной мастерской в виде готового товара.

Именно с элементами централизации связаны и небывало высокое качество флорентийских тканей, и небывалый размах производства. Уже в 1306 г. 300 мастерских Ланы вырабатывали свыше 100 000 кусков сукна, т. е. не меньше миллиона метров ткани.

Конечно, оценить эти масштабы можно только с точки зрения среднего уровня тогдашнего ремесленного производства. Флорентийское сукноделие оставило его далеко

позади. Известно, что флорентийские сукна славились в XIV в. от Англии до Восточной Азии, что промышленность Флоренции превосходила суконное производство всей Франции, что с одним лишь цехом Лана было связано количество людей, равное населению нескольких средних европейских городов того времени. И все же мощные торгово-промышленные «компании» действовали в обычных условиях вполне средневекового в остальных отношениях хозяйственного организма. За исключением сукноделия (и отчасти шелководелия), все отрасли флорентийского производства сохраняли характер цехового ремесла. Сочетание проблесков раннего капитализма с общим феодальным фоном, сочетание мануфактуры с «окружением, целиком относящимся еще к другому периоду», — таковы особенности флорентийской экономической истории.

Итак, становление раннего капитализма было в Италии знаменем времени. И Данте проклял свое время. Почему? Потому ли, что великий поэт смотрел на мир из окон дворянских замков, поворачиваясь спиной к экономическому прогрессу, к заре новой эры, заплылавшей на горизонте?

Итальянская буржуазия отличалась противоречивостью в соответствии с противоречивостью условий, в которых она действовала. Она выполнила в XIV—XVI вв. передовую историческую миссию, «сломив» в значительной степени итальянский феодализм, создав цветущие городские центры, заменив крепостничество арендой, превратив Италию в богатейшую и культурнейшую страну Европы, на столетие опередившую соседей, и обеспечив возникновение блестящей художественной и интеллектуальной надстройки. С другой стороны, не успев сложиться в национальный класс, она сумела уже в колыбели проявить черты, на которые Данте отозвался бурными инвективами. Беспощадная эксплуатация народных масс, стяжательство, беспринципность и нередкие колебания в политике в сторону компромисса с феодалами — все это делает зарождение итальянской буржуазии далеко не идиллической картиной.

Удивительно ли, что лик новой эры показался Данте волчьей мордой? «Волчица, от которой ты в слезах...»

Привычные, вековечные, патриархальные формы жизни разлезались по швам под натиском денег. Созна-

ние потрясенных современников искало и не могло найти объяснения. Широчайшее распространение получили пророчества калабрийского монаха Иоахима Флорского, учившего, что скоро должна кончиться старая эра, а вместе с ней и все муки, все несчастья, и начнется новая эра святого духа — эра братства всех людей, мира и любви. Глубочайшее недовольство народных масс, их тревоги и смутные надежды, их стремление уяснить для себя настоящее и будущее сказались в иоахимистских проповедях о наступлении царства Антихриста, о приближении «последних времен» и о грядущем приходе таинственного избавителя, посланника неба.

Знаменательно, что, возникнув на рубеже XII и XIII вв., иоахимизм только во второй половине XIII — начале XIV в., в связи с обострением классовой борьбы в итальянском обществе, приобретает громадное влияние и становится идеологическим знаменем чуть ли не всех движений крестьян и городской бедноты (флагелланты — «бичующиеся», «апостольские братья», восстание Дольчино), проникает и в другие общественные слои, переплетаясь нередко с францисканством, и даже, говоря словами русского историка Бицилли, воодушевляет людей, не имеющих, казалось бы, ничего общего с калабрийским пророком⁴.

Отчетливое влияние иоахимизма заметно и в творчестве Данте. Не случайно поэт поместил Иоахима в рай вместе со святыми, хотя учение его было осуждено еще в 1215 г. Латеранским собором как еретическое. Ветхозаветный, пророческий тон Данте и пессимистическое, в духе Апокалипсиса, восприятие им социальной действительности — живо напоминает о проповедях иоахимитов.

«Апостольские братья» утверждали, что со времени папы Сильвестра, принявшего гибельный «Константинов дар», римская церковь сошла с праведного пути и погрязла в пороках, в жадности и гордыне. Ее прелаты, ее монахи — «слуги дьявола». Римская курия — это блудница, описанная в Апокалипсисе, это — Вавилон, который должен быть разрушен. Церковь необходимо реформировать и возвратить к образу жизни времен раннего христианства, к заветам Евангелия и первых апостолов. Церковь должна быть лишена богатства и светской власти. На апостольский престол воссядет новый «святой папа», чудодейственно посланный господом⁵.

Таковы вкратце некоторые важнейшие пункты проповедей «апостольских братьев» и посланий Дольчино. Среди приведенных высказываний нет ни одного, которого не разделял бы Данте и которое не встречалось бы в его произведениях — иногда в тех же самых выражениях.

Усвоил Данте и мессианство поахимитов, за которым таились надежды на решительное преобразование общества и установление социальной справедливости и братства⁶. Замечателен тот факт, что в народных массах, в низах были чрезвычайно сильны «гибеллинские» идеи, и в конце XIII—начале XIV в. империя рассматривалась поахимитами как святое орудие бога, которое сокрушит несправедливую церковь и расчистит дорогу к светлому царству святого духа.

«Апостольские братья», как показывают следственные акты Болонской комиссии, надеялись на приход императора. (Некая отшельница Дзолета пророчествовала, «что империя вскоре должна расцвести»). Дольчино, ненавидя анжуйскую (французскую) династию, правившую в Неаполе, и Бонифация VIII, связывал свои планы с восстановлением империи. Роль мессии должен был, по мысли Дольчино, сыграть Федерико Арагонский, король Сицилии, который позже выступит в качестве союзника Генриха VII Люксембургского. Можно не сомневаться, что, доживи Дольчино до 1310 г., он приветствовал бы поход Генриха. В его время на троне Священной империи сидел Альберт Австрийский, не вмешивавшийся в итальянские дела, и ориентация крестьянского вождя на Федерико Арагонского, заклятого врага анжуйцев и папы, была подсказана конкретной исторической обстановкой.

Дольчино и его сторонники мечтали, что Федерико, вступив в Рим и став императором, даст Италии «девять королей» и во главе этих «королей» (вспомним о «частичных правителях» Данте) поведет беспощадную войну против развращенной церкви, против «могущественных и тиранов», казнит Бонифация VIII и всех священников и монахов, лишит церковь богатств и светской власти, обратит ее и «всю землю» к евангельской жизни. «И тогда среди всех христиан будет утверждён мир»⁷.

Разумеется, мы не найдем у пополаанского демократа Данте тех специфически классовых черт, которые характеризуют идеи революционной плебейской секты «апо-

стольских братьев» и вождя городской бедноты и крестьян Дольчино. Разумеется, сближать политические взгляды Данте и Дольчино нужно осторожно и лишь до известного предела. И все же такое сопоставление заставляет совсем по-новому взглянуть на «гибеллизм» Данте, на его мессианство, на его мировоззрение в целом. Несомненно, что Данте и Дольчино вовсе не так безнадежно далеки друг от друга, как это обычно утверждают⁸. В проакхимистской окраске идеологии Данте с большой силой отразилась психология широких народных масс Италии.

Трагизм Данте — это трагизм младенческих шагов первоначального накопления, это трагизм внезапных социальных сдвигов, лишивших тысячи людей привычной почвы под ногами, катастрофически ухудшавших их положение; это трагизм ожесточенной политической борьбы, заливавшей кровью раздробленную Италию; это трагизм постоянной неустойчивости и неуверенности в будущем.

Вот почему Беатриче скорбит о «жизни современной несчастных смертных». Вот почему с такой болью произносит Данте: «Безмерно горький мир».

«Одуряет вас корысть слепая»

В одиннадцатой песне «Ада» флорентийский поэт просит Вергилия объяснить: «... в чем ростовщик черпнит своим пороком любовь творца». Суть замысловатого ответа такова: источником благосостояния должны быть божественные дары природы, но противоестественно, чтобы деньги порождались деньгами...

Совсем средневековый ответ. Может показаться, что Данте страшно отстал от итальянской действительности. Выступая в «Пире»⁹ против «опасного возрастания богатств», поэт писал, что деньги предательски «обещают устранить любую жажду и любые лишения, принести всяческое утоление и довольство». «Но, обещая это, вводят человеческую волю в грех алчности», «внушают неутолимую жажду душе, охваченной лихорадкой». Вместе с богатствами растут желания, а с ними — стремление к новым богатствам, новые страхи и беспокойства. Данте ссылается на Бозция: «Алчность непременно вселяет

в людей ненависть». Не забывает Данте подкрепить свои рассуждения о «проклятых богатствах» и Ветхим заветом, Цицероном, Горацием, Ювеналом. . .

Главный довод заключается в том, что богатство мешает нравственному совершенству. К тому же оно попадает чаще к «дурным, а не добрым». «Какой добрый человек станет наживаться посредством силы или обмана?» Но и честная нажива редко достается «добрым», ибо требует слишком много забот и усилий, «а усердие добрых устремлено к высшим вещам», т. е. к богу. Значит, богатство нужно осудить еще потому, что оно не служит воздаянием добродетели. В распределении богатства «ничуть не отражается справедливость»¹⁰.

Легче всего, начитавшись богословских аргументов в «Пире» или «Комедии», решить, что Данте воюет против алчности с отвлеченных этических позиций. Легче всего решить, что поэт вступил в разлад со своим предприимчивым и меркантильным веком, потому что не сумел отрешиться от традиционных религиозных представлений¹¹. Однако это ничего нам не объяснит. Потому что сама средневековая окраска взглядов Данте нуждается в объяснении. Данте подходил к экономике с моральной точки зрения. Но за богословскими силлогизмами, за той или иной моральной точкой зрения в средние века, как и во все века, скрывалась в конечном счете опять-таки экономика. Какие социальные источники питали ненависть Данте к духу первоначального накопления? — вот в чем состоит проблема.

Пусть Данте и впрямь оперировал отвлеченными категориями и свысока относился к богатству вообще. Но мы-то прекрасно понимаем: гнев Данте, в действительности, далеко не абстрактен, он бьет по «жирному народу» Флоренции. А раз мы знаем, на что объективно направлен этот гнев, нам остается понять, откуда он исходит. И тут мы можем не слишком доверять тому, что думал на сей счет сам поэт. Своей цели мы достигнем тем лучше, чем скорее отучимся разделять заблуждения средневекового идеолога относительно подлинной почвы его воззрений.

Как известно, революционная роль буржуазии состояла в замене эксплуатации, прикрытой «религиозными и политическими иллюзиями . . . эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой». Революционная

роль буржуазии состояла в «осквернении всего священного»¹².

Поэтому незачем, бесстрастно расценивая жажду наживы как естественный признак социально-экономического прогресса, снисходительно упрекать не понимавшего это Данте Алигьери — он называл вещи своими именами:

О жадность! Не способен ни единый
Из тех, кого ты держишь поглотив,
Поднять зеницы над твоей пучиной!
Цвет доброй воли в смертном сердце жив,
Но ливней беспрестанные потоки
Родят уродцев из хороших слив.
Одни младенцы слушают уроки
Добра и веры, чтоб забыть вполне
Их смысл скорей, чем опущатся щеки. . .
Иной из тех, кто, лепеча, любили
И чтили мать, — владея речью, рад
Ее увидеть поскорей в могиле¹³.

Данте близок нам таким, полным тревоги за человечество. «Дантовы инвективы, — пишет А. К. Дживелегов, — скоро сменят другие песни, которыми окрепший и познавший себя „буржуазный дух“ . . . будет прославлять предприимчивость и стремление к наживе»¹⁴. Совершенно верно. Но «люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными»¹⁵. Вот почему буржуазный гений Шекспир проклиная в «Тимоне Афинском» власть золота и пригвождает к позорному столбу хищную буржуазную предприимчивость своего Яго. Вот почему Данте, сын промышленной, банковской и торговой Флоренции, называет всемогущий флорин «проклятым цветком, чьей прелестью с дороги овцы сбиты»¹⁶.

Вместе со старым строем рушилась и старая мораль. «Никто добра не носит даже и личину», — читаем мы в «Комедии»¹⁷. Еще бы! Все личины были сорваны, жажда наживы «в ледяной воде эгоистического расчета потопила . . . священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма. . .»¹⁸. Хотя ломка феодальной морали явилась лишь следствием экономических изменений, а ненасытная алчность, развязавшая самые жестокие инстинкты, стала лишь внешним выражением

сущности формировавшихся раннебуржуазных отношений, — для Данте в этом было главное. Падение нравов прежде всего бросалось в глаза и более остального волновало чуткую душу поэта.

Данте выступает на защиту религиозной средневековой морали. Это, конечно, так. Но это еще не вся правда, а лишь половина ее. Дух стяжательства убивал не только феодальную мораль, но и всякую мораль, мораль вообще.

Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах
Три жгучих искры, что вовек не дремлют¹⁹.

Нельзя не признать, что великому флорентийцу удалось безошибочно запечатлеть психологическую изнанку начинавшейся эры. Он почувствовал ее смрадный запах и — отшатнулся. Патетическая ненависть Данте к миру стяжательства прекрасна. Она возвышает поэта над раннебуржуазным горизонтом и выражает душевное здоровье итальянского народа.

В седьмой песне «Ада» мы видим скупцов и расточителей.

Их множество казалось бесконечным;
Два сонмища шагали рать на рать,
Толкая грудью грузы, с воплем вечным.
Потом они сшибались, и опять
С трудом брели назад, крича друг другу:
«Чего копить?» или «Чего швырять?»
И двигаясь по сумрачному кругу,
Шли к супротивной точке с двух сторон,
По-прежнему ругаясь сквозь натугу;
И вновь назад, едва был завершен
Их полукруг такой же дракой хмурой.

Так удивительно сильно изображает Данте мир наживы как вечную схватку, бессмысленно шумящую во мраке. «Всё золото, что есть или было под луной, не успокоит ни одной из этих усталых душ».

Поэт хотел бы опознать в хмурой толпе теней знакомые лица, но Вергилий отвечает:

Тебе узнать их не дано:
На них такая грязь от жизни гадкой,
Что разуму обличье их темно.

Важно отметить, что речь тут идет о тех, кто «расходовал не в меру» или предавался «излишествам алчности»²⁰. Именно «излишествам», ибо Данте не против хозяйственно-коммерческой деятельности вообще, а против ненасытной жажды первоначального накопления, против золотой лихорадки, «из-за которой дерется род людской». Жажда наживы разобщала, а не объединяла людей, создавала непреодолимые препятствия на пути к социальной гармонии и братству, «оскверняла все священное». И Данте ненавидит ее всеми силами сердца. «А что иное столь опасно и убийственно действует ежедневно на города, кварталы, на отдельных людей, как не чье-либо всё новое стяжание?»

Современник и единомышленник Данте — Дино Компаньи — обличал толстосумов Флоренции за «бесчестные прибыли». Данте нашел еще более выразительное слово, показывающее конкретную направленность его инвектив против «жадности»: «нежданное прибыли»²¹. Быстрое обогащение, характерное для раннекапиталистической поры, — вот на что обрушивался поэт.

В «Пире» Данте доказывал: богатство не может само по себе облагородить человека, ибо природа богатства изменна. Данте выступал и против «богатства, сопряженного с древностью происхождения», т. е. феодального богатства. Отказ признавать богатство критерием социальной и моральной ценности человека означает прежде всего отсутствие у Данте классовой ограниченности. Но поэт борется в «Пире» все же не против богатства, хотя и отрицает его моральную ценность, а против «жадности», разумея под этим словом опять-таки безмерную жажду обогащения, «все новое стяжание». Интересно, что он различает два вида богатства в зависимости от его происхождения — законное и незаконное, непозволительное. Непозволительно богатство, доставшееся «благодаря краже или разбою». Позволительно богатство, приобретенное «благодаря ремеслу, или благодаря торговле, или благодаря службе»²². Лишь бы при этом соблюдалась мера.

Характерны комментарии к «Комедии» Джованни Боккаччо, человека того же века. Боккаччо истолковывает образ дантовской волчицы, говоря о распространности «порока жадности», о «деньгах, приобретаемых тысячами дурных способов». Боккаччо подчеркивает,

что не всякий труд и заработок греховны. Простительны «честный труд и похвальный заработок». Все дело лишь в том, чтоб не стремиться к «излишнему». А те, кто со всяческой честностью занимается своим ремеслом или какой-либо торговлей и не приобретает более того, что им потребно, не должны считаться «алчными». И при этом сама потребность зависит, по словам Боккаччо, от положения в обществе²³. Такое толкование Данте первым его комментатором, на наш взгляд, близко к истине.

Но точка зрения, согласно которой следует ограничиваться доходом от ремесла или торговли, удовлетворяющим потребности, и сохраняя меру, не стремиться к «излишнему» — вовсе не дворянская точка зрения. Это точка зрения типичного цехового мастера — средневекового ремесленника или торговца. Это — заповедь простого производства. И Данте, ополчаясь против «нежданных прибылей» своих соотечественников — владельцев мануфактур и членов компании, — стихийно выражает отношение бюргерства старого склада к зарождению раннего капитализма.

Здесь нужно искать истоки ноахимизма Данте. А также истоки его сочувствия идеалам францисканства. Поэт восторженно рассказывает²⁴ о Франциске, сыне купца из Ассизи, который, отказавшись от наследства и раздав имущество беднякам, бродил по Италии в рубище и босиком, проповедуя любовь к смирению. И, умирая, лег нагим на землю. Данте сопоставляет Франциска с Христом, ведь у них одна «невеста» — Ницета.

Она, супруга первого лишась,
Тысячелетью с лишним, в доле темной
Вплоть до него любви не дождалась.

После того как францисканское движение привело к возникновению нового монашеского ордена, получившего от папства права и привилегии, оно быстро потеряло первоначальную искренность и демократичность. Но во времена Данте культ ницеты, этот овеванный мистикой пассивный протест против власти богатства, затрагивал широкие слои, да и в самом ордене было немало людей, желавших вернуться к строжайшему соблюдению легендарных заветов Франциска Ассизского. Таких людей называли спиритуалами, в отличие от умеренных францис-

канцев — конвентуалов. Данте высказывается против тех и других, желая какой-то золотой середины²⁵. Это характерно. Потому что, когда Данте обличает алчность, он имеет в виду нарушение скромной патриархальной меры. Когда Данте воспеваает нищету, он в сущности подразумевает неподвижный средневековый круг потребностей. На Данте произвели глубокое впечатление иоахимизм и францисканство, хотя он все-таки не был ни иоахимитом, ни спиритуалом.

Флорентийский хронист Виллани, современник Данте, записал под 1310 г.: «Объявилось великое чудо, которое началось в Пьемонте, а потом пришло в Ломбардию, а потом на генуэзское побережье, а потом в Тоскану, а потом почти во всю Италию. Бесчисленное множество мелкого люда, мужчин, женщин и детей бросили свои занятия и ремесла и, держа перед собою кресты, отправились из края в край, бичуя себя, взывая к милосердию, примиряя людей и обращая многих к покаянию»²⁶.

Что общего между Данте и этими потрясенными толпами «мелкого люда», охваченного отчаянием и религиозным экстазом? Как будто бы ничего. Но движения «бичующихся», францисканцев, иоахимитов, «апостольских братьев» создавали в Италии начала XIV столетия трагическую социальную атмосферу, которой дышал поэт.

У немногих гениев Возрождения протест против буржуазного стяжательства занимает такое первостепенное место, как у Данте, и носит такой страстный, такой резкий характер. Религиозно-этическая аргументация Данте вполне естественна и не может побудить нас рассматривать этот протест как явление абстрактно-теоретического порядка. Это плохо согласовалось бы с реалистичным характером творчества великого флорентийца. Обличение стяжательства в «Комедии» или в «Пире» перекликается с настроениями народных масс и может быть объективно объяснено только этими настроениями.

«Нагрянет пес, и кончится она»

Любопытно, что обитатели четвертого круга Ада — прежде всего «клирики с пробритым гуменцом». Данте был далек от того, чтобы счесть эпидемию алчности явлением, сопутствующим развитию городов. Хотя его

выступления против «жадности» направлены по точному социальному адресу, сам он думал, будто борется с каким-то всемирным пороком, охватившим все сердца без изъятия. То, что порок овладел духовенством — сословием, призванным являть пример нравственной чистоты и возвышенности, — казалось поэту особенно возмутительным.

Но подлинное средоточие социальных симпатий и антипатий Данте — это Флоренция. Мысли Данте неизменно возвращаются к городу, с которым у него была неразрывно связана первая — и лучшая — половина жизни: безмятежная юность, любовь к незабвенной Беатриче, сонеты «Vita nuova», политическое крещение в бурные дни 1300 г. — лучшая половина жизни, оборванная изгнанием.

Ты бросишь все, к чему твои желанья
Стремилась нежно; эту язву нам
Всего быстрее наносит лук изгнанья.

Двадцать лет скитаний не смогли выжечь из души Данте печальную любовь к «великому городу на ясном Арно», к «прекрасному Сан-Джованни», где он получил крещение. «Родные места», «милый край!»²⁷.

Но гнев и ненависть заглушают любовь, ибо за стенами Флоренции живет «завистливый, надменный, жадный люд»²⁸ — богачи, хозяйничающие в городе. Данте проклинает Флоренцию и мечтает вернуться в нее. Клеймит ее и нежно о ней вспоминает. И громадность одного чувства вровень с громадностью другого.

«О Родина, достойная триумфальной славы... сколько на твоей земле злодеев, всегда готовых сговориться о твоей гибели, выдавая твоему народу ложь за правду... Ныне вижу тебя одетой в скорбь, исполненной пороков... надменной, подлой, враждебной миру... Если ты не сменишь кормчих на своем корабле, тебя ждет великая буря и неистовая смерть...»²⁹

Возмездие, которое должно обрушиться на «предавшийся распутству и гордыне» город, — неизбежно:

Поэтому — тем лучше, чем скорей;
Раз быть должно, так пусть бы миновало!
С теченьем лет мне будет тяжелей³⁰.

Когда вчитываешься в эти продиктованные мучительной страстью строки, начинаешь понимать, откуда у Данте достало решимости призывать в 1312 г. на родной город войска немецкого завоевателя.

«Вы, престопающие права божеские и человеческие, побуждаемые жестокой и ненасытной жадностью, готовые на всяческие преступления», — так характеризовал Данте в письме к флорентийцам своих земляков³¹.

Саркастически обращается поэт к «милой родине»:

Гордись, Флоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой³².

Перед Данте, пересекшим Стигийское болото, предстают «крутые рвы, объемлющие скорбный город», и «вечный пламень, за оградой вея, башни красит багрянцем»³³. Это — адский город Дит, стены которого скрывают за собой три последних и самых страшных круга. Зловещий образ Дита есть не что иное, как грандиозный символ Флоренции³⁴. Так обобщает Данте свое отношение к нарождающемуся капитализму.

В добрые старые времена Флоренция

Жила спокойно, скромно и смиренно.
Не знала ни цепочек, ни корон,
Ни юбок с вышивкой...
На Перли и на Веккьо красовалась
Простая кожа, без затей гола;
Рука их жен кудели не гнушалась³⁵.

Дни текли спокойно и размеренно, колокола с крепостной стены возвещали о начале мессы, не было роскош, не было дальних торговых поездок. Милая сердцу Данте Флоренция дедов и прадедов!

Данте выступает не против экономического прогресса самого по себе, а против тех последствий, которые он несет пополанским массам.

Завоевательная политика Флоренции вела к переселению в город множества людей. Выходцы из соседних городков Кампи, Чертальдо, Фиччино и других мест округи, богатея, пополняли собою ряды «жирного народа». Переселялись и феодалы, становившиеся особенно опасными для покоя горожан. Данте высмеивает тех

п других, упоминая о «занесшемся мужике из Агульоне» (т. е. судье Бальдо Агульоне, инициаторе амнистии 1311 г., минувшей Данте), о судье-взяточнике Морубальдинн, о Черки, о графах Гвиди и о Буондельмонти. Лучше было бы, если бы все они и им подобные не переселялись во Флоренцию.

Смешение людей в едином лоне
Бывало городам всего вредней³⁶.

По сути, это попытка объяснить переселением изменения в социальной структуре и в судьбах Флоренции, попытка неизбежно наивная, но характерная. В те далекие времена, говорит поэт, «народ был так мудр», что не было раздоров, «не было причин для плача», и «Флоренция пребывала в покое»³⁷. Тогда, именно тогда существовало «прекрасное и гражданственное единенье».

Почему так удручает поэта переселение окрестного населения во Флоренцию, еще лучше обнаруживается в уже знакомых нам словах: «Пришлый люд и нежданные прибыли породили в тебе, Флоренция, гордыню и излишество»³⁸. Таким образом, Данте связывает с переселением раннекапиталистические сдвиги — «нежданные прибыли» и «излишество» — знамения века.

Возврат к временам Каччагвиды, к XII в., к безмятежной тишине патриархального быта — вот что предлагает Данте.

Можно ли назвать реакционной эту его излюбленную мечту? Да. Но следует вновь подчеркнуть, что дело не в слепой приверженности Данте к феодальным догмам и представлениям, что не в дворянских замках рожден его идеал.

Данте реакционен здесь лишь постольку, поскольку всегда реакционен мелкий производитель средневековья, доводимый до отчаяния первоначальным накоплением и, естественно, ищущий золотой век в прошлом, ибо в будущем ему места нет.

Идеал Данте — средневековый город, где даже дворяне носили простые одежды, а жены их сами сидели за веретеном, где истинная гражданственность «была чиста в последнем ремесленнике»³⁹, где не было неудержимой жажды наживы, кровавых раздоров, где процветал простой и здоровый уклад жизни.

«Вещий муж», Вергилий, обращается к Данте:

Волчица, от которой ты в слезах,
Всех восходящих гонит, утесняя,
И убивает на своих путях;
Она такая лютая и злая,
Что ненасытно будет голодна,
Вслед за едой еще сильней алкая.
Со всяческой тварью случена,
Она премногих соблазнит, но славный
Нагрянет Пес, и кончится она.
Не прах земной, и не металл двуславный,
А честь, любовь и мудрость он вкусит. . .
Италии он верный будет щит. . .⁴⁰

Этим загадочным и суровым предсказанием социальных перемен, этим торжественным пророчеством о приходе мессии открывается дантовская поэма. И мессианская нота звучит затем в «Комедии» непрерывно⁴¹.

Данте вопрошает Христа:

Или, быть может, в глубине чудесной
Твоих судеб ты нам готовишь клад
Великой радости, для нас безвестной?

Данте обращается к звездам:

О небеса, чей ход иными понят
Как полновластный над судьбой земли,
Идет ли тот, кто эту тварь изгонит?

Имеется в виду, разумеется, «ненасытная волчица». Данте настороженно вглядывается в историческую перспективу, прислушивается к шагам Пса. Ему кажется, что они близки. Старея в изгнании, не раз испытав горчайшие разочарования, поэт продолжает верить в осуществление своих политических надежд с фанатической страстностью. По обычной слабости даже очень трезвых политических деятелей, Данте принимает желаемое за возможное. Беатриче заверяет его: «Ты увидишь отмщение раньше, чем умрешь». Невыносимо было думать иначе. «Комедия» создавалась на протяжении полутора или двух десятилетий. Но в одной из последних песен «Рая» апостол Петр повторяет сказанное Вергилием в первой песне

«Ада»: «Высокое провидение скоро поможет». Скоро! «И ты сын, вернувшись вновь назад, в смертный мир, открой уста и не скрывай того, что я не скрываю».

Мы знаем, что волчица, от которой в слезах Данте, это жадность, корыстолюбие. А мистический мессия, аллегорический Пес, который заставит волчицу «сдохнуть от тоски», «изгонит ее из каждого города», — кто это? Комментаторы «Комедии» уже шесть веков спорят относительно таинственного Пса. Иные называли имя лукканского тирана Угуччоне делла Фаджуола, иные — повелителя Вероны Кан Гранде делла Скала, иные считали им папу, иные — императора. Последней версии придерживаются, например, видные современные дантологи Пьетробоно и Момильяно. А не менее видный исследователь Ольшки написал недавно книжку, в которой доказывает, что под «Псом» Данте подразумевал... самого себя⁴².

Словом, уже Боккаччо, приведя несколько толкований (может быть, Пес — это Христос или богоматерь, или некто из низкого сословия, или татарский император!), заявил в конце концов: «Я открыто признаю, что не понимаю, кто это». Но со времен Боккаччо ни один комментатор «Комедии» не сомневался, что Пес должен прийти в мир для борьбы со стяжательством. «И будучи спасением несчастной Италии, — поясняет Боккаччо, — которая стала уже во главе мира и в которой этот порок обладал, казалось, большей силой, чем в любой другой стране, был бы спасителем и всего остального мира»⁴³.

Несомненно, что, если Данте не имел в виду, говоря о Псе, непосредственно самого императора, то во всяком случае грядущее появление Пса, спасителя Италии и бескорыстного победителя «жадности», поэт неразрывно связывал с восстановлением империи. Все мировоззрение Данте свидетельствует, что таким чудесным Псом для него могла быть только «святая империя».

Это не мешало Данте после смерти Генриха VII делать ставку на молодого Кан Гранде делла Скала, сколотившего сильное государство в Северной Италии. Данте справляется о Кан Гранде у Каччагвнды⁴⁴. «Не притчами, в которых вязло много глупцов... но ясной речью был ответ мне дан». Однако читатель не узнает, что это за ответ. Поэт лишь хвалит веронского тирана за «безразличие к богатствам и невзгодам» и сулит ему победы: благодаря Кан Гранде «изменится судьба многих людей,

и бедняки поменяются положением с богачами». Качча-
гвида, по словам поэта, предсказал тут некие «невероят-
ные вещи». Какие именно? Данте молчит.

Впрочем, ведь Кан Гранде был гибеллином и под-
держал в 1310—1313 гг. императора Генриха. Очевидно,
Данте полагал, что успехи веронского властителя должны
приблизить час триумфа империи и возрождения Италии.
Надежды поэта могли менять персональный политиче-
ский адрес. Его пророчества обычно смутны и допускают
разные конкретные толкования. Одно неизменно и опре-
деленно: вера в империю.

В «Чистилище» говорится о «посланнике бога», кото-
рый сразит папство и французского короля⁴⁵. На сей раз
поэт обозначает — в духе Апокалипсиса — грядущего мес-
сию числом: «Пятьсот, десять и пять». Если изобразить
мистическое число римскими цифрами, переставив две из
них, получится латинское слово «DUX», т. е. «вождь».
Это ли скрывается за дантовским стихом? Или перед
нами цифровая шифровка? Данте в очередной раз задал
своим комментаторам основательную работу, оказав-
шуюся такой же бесплодной, как и толкования пророче-
ства о Псе. Но ведь поэт подчеркнул в начале пророче-
ства о «515-ти», что империя не останется без наследника.
По крайней мере этот пункт ясен. Нет смысла вникать
в остальное. Удовлетворимся тем, что, возвещая о Псе
или о «515-ти», Данте думал о всемирной монархии.

В 27-й песне «Рая» Беатриче произносит длинную
филиппику против жадности: «О жадность, никто из
смертных, которых ты поглотила, не в силах поднять
взгляд над твоими волнами!..». «Цветет в людях жела-
ние добра», — говорит Беатриче, т. е. человеческая при-
рода не порочна сама по себе. «Но непрерывные дожди
портят хорошие сливы» — условия не благоприятствуют
тому, чтобы восторжествовали добрые человеческие на-
чала. «Ты не будешь удивляться, если размыслишь, что
нет того, кто правил бы землей; потому и сбилась с до-
роги людская семья».

Но вскоре, пророчествует Беатриче (и смысл ее проро-
чества совершенно совпадает с предсказанием Вергилия
о Псе), смилостивятся небеса, «давно ожидаемая буря
направит судно на верную дорогу», «и за цветком поспеет
добрый плод»⁴⁶. Иначе говоря, империя спасет Италию и
человечество от губительного воздействия «жадности»,

и цветы добрых начал, заложенных в человеческом сердце, дадут плоды.

В одной из последующих песен «Рая» та же Беатриче упоминает о «высоком Генрихе, который придет исправит Италию прежде, чем она будет готова к этому. Слепая жадность уподобляет вас младенцу, который умирает от голода, отталкивая кормилицу»⁴⁷. В «Монархии» Данте прямо подчеркивает без символических и поэтических покровов ту же мысль о победе над «жадностью» как о великой миссии римской империи. «Император согласно философским учениям приведет человеческий род к земному блаженству. А так как никто или немногие с величайшими трудностями могут достигнуть этой гавани, если не укрошены волны соблазнительной жадности, и род человеческий пребывает свободным лишь в покое отдохновенного мира, то это есть тот девиз, которым в наибольшей степени должен руководствоваться правитель земли, называемый римским императором...»⁴⁸

Таким образом, империя должна принести Италии не только единство, но и спасение от последствий раннекапиталистического развития, ибо сильная государственная власть смирит уздой закона разгул буржуазного хищничества.

Мечта Данте о «прекрасном, мирном быте граждан» означает не только прекращение кровавых междоусобиц, но и установление социальной справедливости и гармонии.

Так обнаруживается самое глубокое, затаенное содержание дантовского «мира». Так идея национального объединения сливается с идеей социального обновления. Так замыкается круг размышлений, приведших Данте к утопии всемирной монархии.

* * *

Тот, кто хочет понять, откуда берется у Данте сила убеждения, должен вчитаться в его удивительную беседу с Каччагвидой.

В безмерно горьком мире, и, поздней,
Вдоль круч, с которых я, из рощ услады,
Взнесен очами госпожи моей,

И в небо, от лампады до лампады,
Я многое узнал, чего вкусить
Не все, меня услышав, будут рады;
А если с правдой побоюсь дружить,
То средь людей, которые бы звали
Наш век старинным, вряд ли буду жить, —

обращается Данте к своему отважному предку. Бесмертные поэзии — в ее правдивости! Мысль эта потрясает в устах поэта начала XIV в. Она находится за пределами средневековья, как и торжественный ответ Каччагвиды:

Кто совесть запятнал
Своей или чужой постыдной славой,
Тот слов твоих почувствует ужал.
И все-таки, без всякой лжи лукавой,
Все, что ты видел, объяви сполна,
И пусть скребется, если кто лишавый!
Пусть речь твоя покажется дурна
На первый вкус и ляжет горьким гнетом, —
Усвоюсь, жизнь оздоровит она⁴⁹.

Вот как гордо оценивал Данте общественное значение своей поэзии, которая должна стать «живительной пищей» для человечества. Вот чего добивался, оттачивая до предельной выразительности свои терцины. Таков его «социальный заказ», сознательная гуманистическая установка творчества. Разве не требовала Беатриче: «Для пользы мира, где добро гонимо... Все опиши, что взору было зримо»?⁵⁰

В письме к Кан Гранде поэт отозвался о «Комедии» в следующих словах: «Цель ее в целом и в частях — вывести живущих в этой жизни из несчастного состояния и привести их к блаженству»⁵¹.

Из общества, где феодальный произвол и буржуазный чистоган сеют беспощадную злобу, низменные побуждения, кровавые насилия, от слез и страданий Данте уходит в мир религиозной фантазии —

... из тлена в свет небесной славы,
В мир вечности из времени вступив,
Из стен Фьорейцы в мудрый град и здоровый⁵².

Показав в безрадостных сценах «Ада» современную Италию, Данте воплотил в картинах «Рая» свои политические мечты⁵³.

Там можно многое, что не под силу
Нам здесь, затем что создан тот приют
Для человека по его мерилу.

В Аду лица искажены яростью и мукой, но безмятежной добротой и лаской дышат в Раю улыбающиеся лица святых. «На всем протяжении этого царства не может быть места печали, жажде или голоду», — грезит Данте. «Незыблемый, раз навсегда установленный закон», действующий в Раю, оберегает святых от социальных неурядиц.

Для итальянца Данте рай — это, конечно, город. Для автора трактата «О Монархии» — это город «того императора, который царит вверху». «Он повелевает повсюду, но здесь его держава, здесь его город и высокий престол». Бога окружает «блаженный двор». Данте видит «великих патрициев этой справедливейшей и милосердной империи».

Царь, чья страна полна такой блаженной
И сладостной любви, какой никак
Не мог желать и самый дерзновенный, —
Творя сознанья, радостен и благ,
Распределяет милость самовластно.

Так господь-бог оказывается у Данте просвещенным монархом преображенной Италии. «Я увидел высокое торжество истинной державы». Вот она, милая родина, мирная и счастливая! Перед нами «тот Рим, где римлянин — Христос».

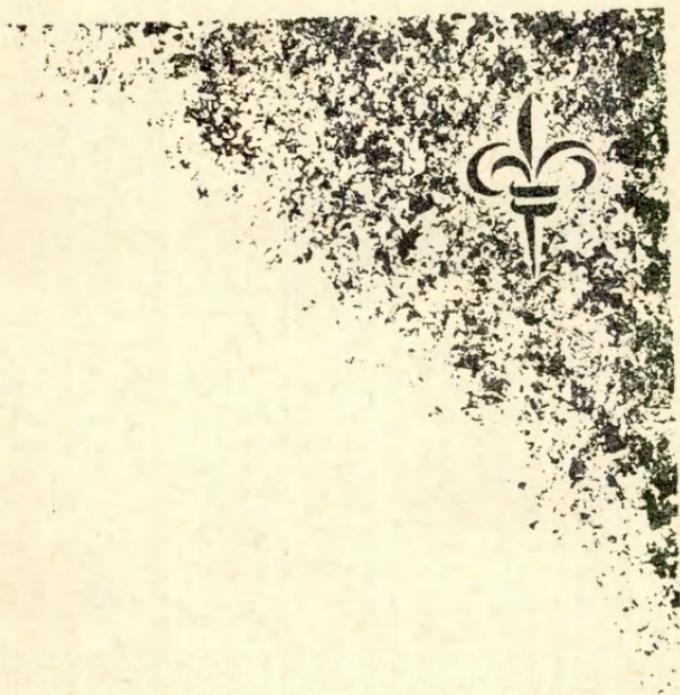
Какой свет наполняет просторы Рая: в Раю уже нет красок, и вместе с тем в нем все краски, как в белом цвете — все цвета. Сияние, сияние... Слеплены очи, кружится от «зримого и звучного хмеля» голова, восторг переливает через край души.

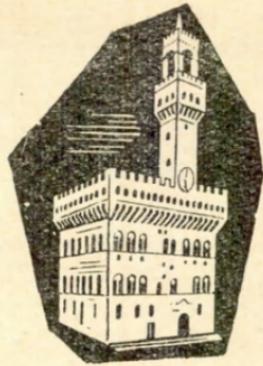
О радость! О восторг невыразимый!
О жизнь, где всё — любовь и всё — покой!

... Виноват ли Данте, что его мистическая вера в спасительную миссию Генриха VII оказалась реакционной утопией?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВО ФЛОРЕНЦИИ
И В ИЗГНАНИИ





«И они грызутся, одной стеной и рвом окружены»

Ванвой политических столкновений во Флоренции в конце XIII—начале XIV в. была вражда пополанов и дворянства, дополняемая противоречиями между массой ремесленников и мелких торговцев («тощим народом») и пополанской верхушкой — купцами, банкирами, предпринимателями («жирным народом»). Специфические черты, связанные с развитием мануфактуры, заметно обрисовываются в классовой борьбе лишь к середине XIV в. Но даже во время знаменитого восстания чомпи они проступают отнюдь не в чистом виде, а в феодальном обрамлении. Что касается дантовской эпохи, то раннекапиталистические тенденции тогда лишь косвенно и опосредствованно отражались в политических коллизиях. Переход к мануфактуре, наметившийся в ведущей отрасли флорентийской экономики, привел к быстрому усилению «жирного народа», к интенсивному размыванию разорывшегося или обуржуазившегося дворянства, к осложнению внутривополанских противоречий. В результате классовые столкновения во Флоренции, не теряя своего в основном средневекового характера, приобретают с конца XIII в. новые оттенки, особую остроту и динамичность. Явления, свойственные в той или иной степени многим городам Италии,

отливаются во Флоренции в наиболее рельефные, яркие, классические формы. Именно в этот период «жирный народ» с большими трудностями, но неуклонно добивается политического господства в городе, оттесняя и подавляя дворянство. Именно в этот период закладывается фундамент флорентийского республиканского государственного устройства и принимаются насыщенные антифеодальным духом «Установления правосудия» — одни из наиболее известных городских статутов средневековья. Традиционные устои начинают расшатываться во всех сферах общественной жизни. Мощная фигура Данте Алигьери, обращенная одновременно к XIII и к XIV вв., возвещает уже о Возрождении.

Говоря об идеологии Данте, невозможно обойтись без очерка флорентийской политической истории¹.

Речь придется повести издалека.

* * *

С XI в. энергия флорентийцев была поглощена непрерывной утомительной борьбой с феодальными замками, которые плотным кольцом сжимали город. Опасность усилилась, когда знать заключила союз с соседним городом Фьезоле. Между тем предприятия крестоносцев создали в итальянской торговле небывало выгодную экономическую конъюнктуру. Для Флоренции настало время вполне использовать свое удобнеее географическое положение. Но прежде необходимо было положить конец своеволию нобилей сельской округи (контадо) и обезопасить торговые пути. Флоренция перешла к активной внешней политике. Весь XII в. заполнен грохотом рушащихся феодальных замков. В 1125 г. Фьезоле был взят и разрушен. Это явилось первым значительным успехом.

Нобили, боровшиеся против Флоренции, представляли собой крупную земельную знать, в значительной мере немецкого происхождения. Мелкое рыцарство, не имевшее обширных земельных владений, громких титулов и родословных, жило — в отличие от крупных нобилей — более или менее постоянно в городе. Его ряды зачастую пополнялись за счет старого зажиточного бюргерства. Пока городская экономика была развита слабо, а социальные противоречия внутри города лишь зарождались, фло-

рентийцы — рыцари и пополаны — сплоченно выступали против окрестных феодалов.

Стремясь обезвредить знать, горожане насильственно переселяли ее во Флоренцию. Это привело к тому, что крупные нобили, сохранившие землю и военную мощь, возобновили борьбу с пополанами и рыцарством уже внутри городских стен, захватывая власть в коммуне. Между тем возникали первые флорентийские цехи, крепло купечество, богатели и возвышались, втягиваясь в торговлю и ростовщичество, до сих пор малозаметные дворянские фамилии, росли предместья, населенные пришлым людом — мелкими торговцами, ремесленниками, крестьянами. Все это, такое пестрое по своему составу население объединялось ненавистью к правящей аристократической олигархии. Открытая вооруженная борьба, вспыхнувшая в 1177—1180 гг., не смогла в конечном счете подорвать господство знати. Тогда рыцари и пополаны выдвинули новую форму управления — подестат — и провели законодательство, лишавшее к началу XIII в. феодалов контадо остатков независимости.

Аристократия искала помощи императора Фридриха Барбароссы. Борьба двух классовых лагерей приняла в результате оболочку гвельфо-гибеллинской распри. («Гибеллинами» именовали сторонников, а «гвельфами» — противников империи). Когда в 1184 г. Барбаросса попытался одним росчерком пера лишить флорентийцев плодов столетнего освоения контадо, вхождение Флоренции в гвельфскую лигу было предрешено. И оно последовало через 13 лет. В 1215 г. переход на сторону гвельфов могущественного гибеллинского рода Буондельмонте послужил поводом для нового обострения борьбы. Этому способствовало появление на политическом горизонте фигуры энергичного Фридриха II. Столкновения крупной гибеллинской знати и гвельфского блока мелкого дворянства и пополанов явились, таким образом, продолжением тех противоречий, первые следы которых нужно искать уже среди развалин Фьезоле.

В первой половине XIII в. борьба развивалась в общем в пользу гвельфов. Вмешательство войск Фридриха II привело, однако, к их массовому изгнанию. В ответ флорентийские пополаны в октябре 1250 г. поднялись на восстание против господства феодальной гибеллинской знати. Вооруженные купцы и ремесленники провозгласили

создание первой пополанской конституции. Отныне пополапы получали внутри коммуны свою особую военную и политическую организацию во главе с «капитаном народа». Впервые пополаны пришли к власти. Это было сокрушительным ударом не только по гибеллинскому, но и по гвельфскому нобилитету. В 1250 г. открыто обнаружилось глубокое противоречие внутри гвельфского блока. Пока гибеллинская опасность была слишком сильна, а пополаны слишком слабы, чтобы бороться на два фронта, эти противоречия зрели подспудно. Но в 1250 г. гвельфский блок дал зияющую трещину. И все же он сохранялся, ибо гибеллинская опасность, по-прежнему маячившая на горизонте, повелительно требовала сплочения всех антигибеллинских сил. После десяти лет пополанского господства, отмеченных военными победами и экономическим процветанием, битва при Монтеперти снова отдала Флоренцию в руки гибеллинов и немецких рыцарей императора Манфреда.

Гибель Манфреда и воцарение в Неаполе Карла Анжуйского создали новую ситуацию. В ноябре 1266 г. пополанское восстание сбросило власть гибеллинов и привело к их окончательному изгнанию. По просьбе гвельфского дворянства в город вступили французские войска. Очередное вмешательство внешних феодальных сил опять отбросило назад развитие Флоренции. Вместо Манфреда флорентийцам посадили на шею Карла Анжуйского, вместо немецких наемников — французских наемников, вместо засилья гибеллинской знати наступило засилье знати гвельфской. Хозяином города стала организация гвельфского нобилитета, так называемая Партия, на которую опирались наместники Карла.

В 1267 г. гибеллины были навсегда изгнаны из города, а в следующем году битва при Тальякоццо оборвала вековые притязания Гогенштауфенов на независимость Флоренции и лишила гибеллинов самой важной опоры. Отныне они всегда будут являться второстепенным фактором флорентийской истории. Тем самым была уничтожена единственная основа гвельфского блока. И он немедленно распался под напором антагонистических противоречий, созревших в нем в течение предшествующих десятилетий. Пополаны дождались торжества над крупной феодальной знатью, над гибеллинами, но теперь им предстояли долгие годы борьбы с другой фракцией феодального класса —

с гвельфским дворянством. Вот почему вступление в город французского отряда под командованием сиятельного Гвидо де Монфора было сигналом к началу нового большого периода в истории Флоренции.

* * *

Семидесятые годы XIII в. характеризуются быстрым обогащением и усилением «жирного народа». Несоответствие между его реальным могуществом и малой долей участия в управлении городом не могло не проявиться. Обострение это протекало на первых порах подспудно и с трудом обнаруживается в источниках. Только в 1280 г. флорентийские пополаны сумели, искусно используя разрыв между гвельфской и гибеллинской знатью и соперничество между Карлом Анжуйским и римской курией, добиться при помощи папского легата кардинала Латино Франджипани создания правительства «Четырнадцати», в котором им принадлежало большинство мест. «Мир» кардинала Латино означал конец господства нобилей из гвельфской партии, привел к власти пополанов, подготовил создание приората.

В 1282 г. «Сицилийская вечерня» (восстание, пошатнувшее трон Карла) отозвалась радостным благовестом в сердцах флорентийских пополанов. Час их пробил. Созданный в июне 1282 г. высший политический совет старших цехов — приорат — с первого дня своего существования начал действовать от имени всей коммуны, издавать обязательные для всех горожан постановления и, отесняя постепенно в тень коллегию 14-ти, становится фактическим правительством Флоренции. Это был радикальный переворот, острием своим нацеленный против «грандов» (или «магнатов»). Так называлось теперь флорентийское дворянство, изменившее отчасти свой социальный облик. Оно вобрало в себя выходцев из «жирного народа» и вместе с тем утратило немало знатных фамилий, влившихся в пополанские ряды, так что благородное происхождение далеко не всегда совпадало отныне с реальной экономической и политической принадлежностью к нобилитету.

После 1282 г. Флоренцией управляли «жирные» пополаны. Антимагнатская борьба вскоре вновь усилилась. В ответ на попытку грандов захватить дворец подеста —

девять младших цехов получили право военной организации. Война с Ареццо ухудшила положение пополанских масс, разожгла притязания грандов и связала в один узел социальные противоречия. В 1289 г. средние цехи были торжественно включены в число старших, и пополанцы, сплотившись, добились принятия нескольких важных антимагнатских законов. Широкое пополанское движение увенчалось в январе 1293 г. созданием новой конституции, заслуженно и не без причин названной «Установлениями правосудия». Основная идея «Установлений» — провозглашение беспощадной войны против магнатов, лишившихся важнейших экономических, судебных и политических прав. По существу, магнатство было поставлено вне закона.

Это соответствовало интересам всех пополанов, всех цехов. Но «Установления» обеспечивали прежде всего господство «жирного народа». «Тощие» оказались в положении очень полезного, но почти бесправного партнера. Они были, в частности, отстранены от участия в приорате. Поэтому союз пополанской верхушки и пизов носил непрочный, временный характер. Как только цель союза была достигнута — он распался, и вчерашних союзников, клявшихся в «истинном и вечном согласии», разделила непроходимая пропасть. Перелом обозначился уже к весне 1293 г. В феврале — апреле борьба против магнатов вступила в самую острую стадию. Были приняты дополнения к «Установкам», придавшие им еще более решительный характер. Если вначале движение возглавляли «жирные», то по мере углубления антимагнатской борьбы «тощий народ» все шире включался в политическую жизнь и начинал играть самостоятельную роль. Именно вооруженные низы были самым последовательным противником дворянства и оказывали все более сильное давление на правительство. А «жирные», когда их старый враг — магнатство — был поставлен на колени, стали охладевать к движению, испытывая жгучий страх перед «тощим народом». Поправление «жирных» шло прямо пропорционально активизации «тощих».

Между тем консолидируются гранды. Родовые распри забываются ради классового единства. Магнаты безошибочно намечают ближайшую политическую цель: они решают расправиться с вождем пополанского движения Джано делла Белла.

В деятельности и политической судьбе Джано отразились все существенные черты этого этапа флорентийской истории. Джано выдвинулся в 1289 г., а с февраля 1293 г. окончательно стал признанным вождем антимангнатского движения. Фигура этого купца, выходца из обуржуазившейся дворянской семьи, выражает собою начальный период движения, дух «Установлений правосудия», дух общепополанского блока в непримиримой борьбе с дворянством. Именно Джано делла Белла был вдохновителем апрельских дополнений к «Установлениям». Именно он добивался разгона гвельфской Партии, стал воплощением антимангнатского террора во Флоренции, расправился с грандами Пистойи.

К осени 1294 г. грандам удалось столкнуть Джано с цехами мясников и судей, погрязшими в торговых аферах, судебной волоките и продажности. Затем против Джано возник заговор в комиссии по пересмотру законодательства. «Жирный народ» все более склонялся к смягчению антимангнатского террора и к решительным мерам против низов. А Джано и его сторонники по-прежнему стояли за продолжение непримиримой борьбы с дворянством и за сохранение общепополанского блока. Такой вождь стал ненужен и опасен для «жирных». К концу 1294 г. окончательно выявился раскол пополанского лагеря. Внутренняя и внешняя реакция сомкнулись против радикально настроенных флорентийских ремесленников.

В январе 1295 г. вспыхнуло восстание «тощего народа», возмущенного соглашательской политикой «жирных». Но Джано не решился опереться на восстание. Он был чужд низам, если дело не шло об истреблении дворян. Сказалась классовая ограниченность этого представителя нарождающейся буржуазии, который, несмотря на свой искренний демократизм, в решительную минуту бросился защищать «законные» власти коммуны, защищать своих политических противников от ненависти флорентийской бедноты. Восстание носило стихийный характер. Разгромив дворец подеста и насытив свою ярость, толпа разошлась. Но это первое в истории Флоренции самостоятельное выступление «тощего народа» сыграло тем не менее большую роль в ее дальнейшей истории.

Обращенные против Джано копья ремесленников означали, что он лишился всякой классовой опоры. Его ненавидели гранды, его готовились погубить «жирные»,

ему не доверяли теперь и «тощие». Начав как общепополанский вождь, Джано оказался в полной политической изоляции, одиноким среди враждебных группировок. Пришедший 15 февраля к власти приорат, в который вошли наиболее правые представители пополанской верхушки, осудил Джано на пожизненное изгнание. 5 марта 1295 г., вновь отказавшись от поддержки вооруженных низов, Джано делла Белла бежал из Флоренции.

Как говорит Виллани, «отныне и впредь ремесленники и тощие пополаны имели мало власти в коммуне, по оставались у власти могущественные, жирные пополаны». «Жирный народ», обрушив репрессии на «тощих», не собирався вместе с тем сдавать свои позиции магнатам. Дворянский бунт 6 июля 1295 г. кончился неудачей. Некоторые промежуточные слои дворянства получили гражданские права ценой перехода в пополанский лагерь, магнаты же добились лишь несущественных уступок. Июльские поправки к «Установлениям» не разрешили ни одного из острых противоречий между грандами и «жирным народом». Гранды по-прежнему подвергались дискриминации. Поэтому уничтожение «Установлений» оставалось главной целью и самым страстным желанием магнатства. С другой стороны, на борьбу «жирных» против магнатов накладывает отпечаток память о выступлениях «тощих» в 1293—1295 гг. «Жирный народ» теперь постоянно с испугом оглядывается на флорентийскую бедноту, на мелких ремесленников и торговцев. Он настроен весьма сдержанно по отношению к грандам, но зато гранды ведут себя агрессивно. Он непрочь отделаться мелкими подачками, но зато гранды требуют полной отмены «Установлений». Антимангнатская борьба, в которой противоречиво сочетаются старая ожесточенность и вновь проявившаяся компромиссность, непрерывно обостряясь, приводит, наконец, к возникновению партий белых и черных гвельфов.

* * *

«Началом разделения города на проклятые партии белых и черных» послужила, по словам хронистов, вооруженная схватка в мае 1300 г. на площади Санта Тринита между Донати — старой дворянской фамилией, изрядно оскудевшей, и Черки — незнатными выходцами из кон-

тадо, богатейшими купцами Флоренции. Ссора Черки и Донати явилась, конечно, не причиной, а поводом для партийной борьбы. Распря Черки и Донати возникла в обстановке напряженных социальных противоречий и сама была очередным проявлением этих противоречий, отражая и прикрывая антагонизм дворянства и «жирного парода». Анализ классового состава обеих партий подтверждает, что перед нами продолжение классовых конфликтов 80-х и 90-х годов XIII в. Но размежевание пополанского и магнатского лагерей потеряло прежнюю отчетливость и полноту. Магнатскую партию черных поддерживают отдельные (правда, очень немногие) пополанские фамилии. А к пополанской партии белых примыкают нобили-гиббелины, а главное — часть гвельфов-грандов (по семейным и личным мотивам, из-за родовой вражды или финансовых связей).

Смуте способствовали события в соседней Пистойе, с 1296 г. находившейся под флорентийским протекторатом. Названия аналогичных по характеру пистойских партий легко привились во Флоренции. За спиной черных гвельфов стоял папа Бонифаций VIII, открыто вмешивавшийся во флорентийские дела и угрожавший тем, кто призывал к возвращению из ссылки Джано делла Белла. Ненависть к флорентийским пополанам играла не последнюю роль в его планах, которые современник охарактеризовал как «желание папы Бонифация захватить всю Тоскану». Во Флоренцию прибывает кардинал Маттео Акваспарта. Его интриги, направленные на то, чтобы помочь черным отеснить белых от власти, натолкнулись на отпор приоров, среди которых был Данте Алигьери. Тогда 23 июня 1300 г. магнаты напали на цеховую процессию с криками: «Именно благодаря нам была одержана победа при Кампальдино, а вы отстранили нас от должностей и почестей в нашем городе». Однако приоры сумели, прибегнув к решительным мерам, предотвратить назревавший дворянский мятеж. Разгневанный папский легат покинул Флоренцию, паложив на нее интердикт.

Неудачи побудили черных гвельфов собраться на тайное совещание в церкви Санта Тринита. На нем было решено просить папу Бонифация прислать какого-нибудь «синьора» из французского королевского дома, «дабы он помог им прийти к власти и разгромить народ и белую партию». Летом 1301 г. предательский сговор черных

грандов и Бонифация VIII создал для Флоренции угрозу иноземного вмешательства. Принц Карл Валуа с благословения своего брата Филиппа IV отправился в Италию. Если и раньше инициатива все время принадлежала магнатам, то теперь осторожность и пассивность пополанской верхушки удвоились. Правящие круги коммуны трусили, бездействовали, колебались и мечтали о мирной сделке с магнатами, в то время как черные замыслили переворот, а Карл Валуа был уже в Сьене. 1 ноября 1301 г. «жирный народ» открыл французским баронам ворота Флоренции.

Поведение вождей белой партии и приоров в течение драматической, до отказа наполненной событиями недели, последовавшей после вступления в город французов, — верх растерянности и нерешительности. Немногочисленное радикальное крыло белых гвельфов понимало, что единственный выход — призвать к оружию пополанские массы. Низы показали готовность сразиться с дворянами — черными и баронами Карла Валуа. Но пешее ополчение «тощего народа», еще не вполне оправившегося после 1295 г., лишенное руководства и не доверявшее правительству, не могло самостоятельно выступить против рыцарской конницы. А «жирный народ», страшась Карла и грандов, а еще больше — «тощих», вел двойственную политику и стремился не к борьбе, а к капитуляции. В результате, 7 ноября 1301 г. черные гвельфы осуществили государственный переворот. Город был охвачен пожарами и погружен в кровавый хаос.

Корни борьбы белых и черных — в результатах движения Джано делла Белла. Без событий 1295 г. не было бы переворота 1301 г. Хотя низы, храня традиции Джано, по-прежнему ненавидели магнатов и стояли поэтому на стороне белых, пополанским лагерем ныне безраздельно заправляли «жирные», борющиеся на два фронта — против дворянства и против «тощего народа». Отсюда отпечаток крайней умеренности и половинчатости, лежащий на всей политике верхушки белых. Решительная борьба против грандов по неизбежной исторической логике должна была бы всколыхнуть, активизировать низы. Но этого-то и боялись «жирные». Отсюда отсутствие четкости и рельефности в размежевании политических сил. Нельзя представить себе грандов в качестве сторонников Джано делла Белла. А теперь, через

пять лет после его изгнания, в пополанском лагере управляли такие люди, как Берто Фрескобальди или Бальдо делла Тоза, еще недавно возглавлявшие дворянскую реакцию. С Черки им было нетрудно найти общий язык. Дело не только в богатстве и могуществе Черки, но и в том, что они были одинаково близки к «жирным» и грандам, занимая некое промежуточное социальное положение. Черки являлись политиками, которые вполне соответствовали духу партии белых и как нельзя лучше годились на роль ее вождей. И даже то обстоятельство, что теперь антимагнатская борьба велась не в обнаженной форме, как в 1293—1295 гг., а под прикрытием случайной и частной оболочки, в форме розни двух семей — даже это объясняется новыми особенностями классовых взаимоотношений.

Нельзя, однако, упускать из вида, что белые были все же пополанской партией, защищавшей «Установления» и пополанский строй в целом против самых реакционных слоев флорентийского магнатства. Белые отстаивали независимость коммуны против римской курии. Белых, а не черных, поддерживали пополанские массы. Политика белых гвельфов была умеренно-демократической, несмотря на относительно противоречивую позицию «жирного народа». Социальная разношерстность пополанского лагеря обуславливала его внутреннюю слабость. У мелких ремесленников, богатых предпринимателей и банкиров, грандов-гвельфов и грандов-гибеллинов были слишком разные побуждения. Приближение отряда Карла Валуа обострило тягу белых к компромиссу, усилило разброд, колебания и пассивность. Непосредственная военная опасность была невелика. Но «жирные» попланы Флоренции всегда стремились вести себя лояльно по отношению к французскому королевскому дому. Франция и Неаполитанское королевство являлись главнейшими районами деловой активности флорентийцев. Обострять отношения одновременно и с ними, и с папой — было опасно.

Таким образом, внешнеполитические условия, в которых происходила эволюция партии белых, переплетались с внутренними условиями, существенно дополняли их и действовали в одном направлении.

В апреле 1302 г. черные завершили переворот, изгнав из города 600 активных сторонников белых. К этому

времени произошла перегруппировка классовых сил. «Жирный народ» перешел под знамена черных гвельфов и, разделив власть с группой могущественных магпатов (Джери Спино, Россо делла Тоза, Пацци и др.), упрочил этой ценой свое господство. «Установления» остались стержнем государственного строя. Только немногочисленная группа черных грандов, отказавшись от борьбы против «Установлений», выгадала от ноябрьского переворота. Большинству же магпатов победа почти ничего не дала. В кровавые ноябрьские дни 1301 г. все эти Бостики, Торнаквинчи, Джандонати упивались грабежами и насилиями, но когда развеялся угар погромов, то оказалось, что остались ненавистные им «Установления», остался пополанский приорат, и лишь кучка их соратников по партии очутилась на вершине почестей и власти, сумев сговориться с купцами. А они, цвет флорентийского дворянства, по-прежнему были лишены полноправия и по-прежнему разорялись, влезая в долги. И в партии черных назревал раскол. Большинство флорентийских магпатов во главе с Корсо Донати готовилось к продолжению борьбы.

Летом 1303 г. вскипает открытый вооруженный конфликт — продолжение старой антимангнатской войны во вновь изменившихся условиях. «Жирный народ» в союзе с группой Россо делла Тоза с трудом удерживает власть, сражаясь против мятежных дворян Корсо Донати. Положение осложняется особой позицией белых грандов, поддерживающих связь с эмигрантами. «Тощий народ», ненавидя и мятежников, и правящую олигархию Делла Тоза и Спино, тоже надеется на возвращение белых. Но белые политически перерождаются в изгнании, объединившись с реакционной гибеллинской знатью контадо. Если до 1302 г. «гибеллинизм» белых был лишь тактическим приемом, то теперь происходит действительное сближение, а затем и слияние белых и гибеллинов. Несмотря на это, они терпят поражение за поражением.

В 1304 г. кардинал Николай Пратский безуспешно пытался по поручению Бенедикта XI выступить в качестве «миротворца» и согласовать интересы враждебных сословий. Не успел кардинал выехать за городские ворота, как опять вспыхнула вооруженная борьба — на этот раз между правящей кликой Делла Тоза и приверженцами белых и гибеллинов, к которым вновь временно

пристала часть «жирного народа». Сторонники Донати и «тощие» остались в стороне от борьбы. В дальнейшем разногласия между группой делла Тоца и «жирным народом» окончательно сгладились, и последующие годы протекали под знаком усиления их союза и господства. В 1306—1307 гг. они перешли в наступление против дворянской оппозиции. Бунт магнатов в 1308 г. кончился полным провалом и бесславной смертью Корсо Донати.

Если изгнание Джано делла Белла явилось прологом к борьбе черных и белых гельфов, то смерть Корсо Донати стала ее эпилогом. Гибель этого человека, в течение почти четверти века возглавлявшего безуспешные атаки самых реакционных кругов флорентийского дворянства против пополанского строя, — знаменательна. В 1308 г. еще раз подтверждается безнадежность попыток грандов отвоевать навсегда утраченное господство.

Итак, после 1293—1295 гг. в политическом развитии Флоренции появляются две важные новые черты. Во-первых, вражда «жирного» и «тощего» народов оказывает существенное влияние на ход и особенности борьбы пополанов с магнатами. Во-вторых, в обстановке быстрого раннекапиталистического подъема усиливается разложение дворянства и перерождение значительной его части. Экономический и политический кризис дворянства приводит к тому, что отдельные группировки дворянства откалываются от своего класса и при очередном повороте политической борьбы переходят на сторону «жирного народа».

Обе новые черты порождаются одной и той же объективной причиной — глубокими и быстрыми сдвигами в экономике. Обе они оказывают на расстановку классовых сил одинаковое воздействие в том смысле, что обострение противоречий среди пополанов и внутри дворянства необычайно запутывает социальную борьбу и придает ей особую сложность, дробность и изменчивость. На основном стволе политического развития растут все новые ответвления. Но подобно тому, как в экономической истории Флоренции, несмотря на ее многоплановость, легко выделяется главное и решающее явление — подготовка и зарождение мануфактуры, так и сквозь политическую историю Флоренции лейтмотивом проходит становление господства «жирного народа».

Вчитываясь в напряженное повествование флорентийских хронистов, следя за быстрыми поворотами событий, наблюдая за персонажами давно отшумевшей политической драмы, не перестаешь думать о Данте и ощущать его присутствие. Эти события уже известны — в разящих характеристиках великого поэта. Их участников мы уже встречали в мрачных кругах Ада или в лучезарных просторах Рая.

Нельзя оценить политическую деятельность Данте во Флоренции и после изгнания, его присоединение к партии Черки и последующий разрыв с нею, его так называемый «гибеллизм», не разобравшись в столкновениях гвельфов и гибеллинов, во вражде «черных» и «белых». Нельзя оценить яростные нападки Данте на папство и его выступления против теократии римской курии, не изучив истории борьбы флорентийской коммуны за независимость против Бонифация VIII. Нельзя понять этическую теорию Данте, не познакомившись с успешной борьбой флорентийских popoloв против засилия феодального нобилитета. Нельзя понять протесты Данте против «жадности», не учтя, что во Флоренции пробивались первые ростки раннего капитализма. Короче говоря, политические и социальные воззрения Данте, будучи в значительной мере обобщением конкретного опыта флорентийской истории, не могут быть поняты вне этого опыта. Взгляды Данте формировались под воздействием событий 1301—1302 гг., определивших навсегда судьбу поэта и содержание его политических теорий. Поражение белых гвельфов было связано с вмешательством светской власти папства и чужеземных феодалов. Беспрепятственность этого двойного вмешательства объяснялась политической раздробленностью Италии. С другой стороны, поражение белых гвельфов свидетельствовало о трудности и опасности борьбы с дворянством без поддержки центральной власти. Наглядные исторические уроки распри белых и черных гвельфов послужили исходным пунктом для основной политической идеи Данте — идеи государственного объединения Италии под эгидой национальной монархии. Истоки восторженного отношения Данте к Генриху VII проясняются только после изучения хроники Дино Компаньп.

И наоборот. Картина социального развития Флоренции естественно дополняется ярким идеологическим отражением этого развития в произведениях Данте. Но Данте был не только флорентийским поэтом. Он был поэтом итальянским. Он осмысливал исторический опыт родной Флоренции в тесной связи с аналогичным опытом других городов Италии, в масштабе всей страны. Ни на миг не порывая с Флоренцией, мы одновременно выходим вместе с Данте за узкие пределы ее стен и башен. И проблемы, явления, лица флорентийской истории предстают как бы под всеитальянским увеличительным стеклом.

«Народ мой, что я тебе сделал?»

Верующий поэт заставил самого апостола Петра прервать райские славословия и обрушиться на Бонифация VIII в столь энергичных выражениях, что небеса покраснели и затмившись, а прекрасная Беатриче изменилась в лице:

Тот, кто, как вор, воссел на мой престол,
На мой престол, на мой престол, который
Пуст перед сыном божьим, возвел
На кладбище моем сплошные горы
Кровавой грязи...²

Эти гневные слова, которые вне себя повторяет разбушевавшийся апостол, — удивительный пример политической страстности Данте. Политика была для Данте личным делом. Его оценки людей и событий пропитаны благородной тенденциозностью. Кто не знает, что Данте «те жалкие души, что жили без хулы и без хвалы», поместил в ад, даже не в ад, а в преддверие ада, ибо «их не принимает адская бездна, чтобы в сравнении с ними не умалилась вина иных преступников». Здесь те, кто уклонился от участия в борьбе и «был только за себя».

Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!³

Так громит Данте людей без тенденции, пылкий поэт и непримиримый политический борец обличает бесстрашие и безразличие к политике. Обычно справедливо

усматривают истоки тенденциозности Данте в бурной политической атмосфере Флоренции, плохо вязавшейся с индифферентизмом, воспитавшей сильные характеры, накалявшей и леденившей сердце.

Данте родился в мае 1265 г. Сведения о его отдаленных предках не вполне достоверны и всегда служили предметом полемики среди исследователей. Сам Данте называет в «Комедии» своим прародителем рыцаря Каччагвиду, исторически реальное лицо, который, судя по документам, жил в первой трети XII в. Тень доблестного прадеда Данте в беседе с поэтом отказывается назвать имена своих предков, заявив, что о них «достойней умолчать», и добавляет, что в те времена «кровь была чиста в последнем ремесленнике»⁴. Это может означать, что родители Каччагвиды были незнатны, или что Данте просто ничего о них не известно.

Для нас не столь уж важны споры о наиболее глубоких корнях генеалогического древа Данте. Во всяком случае, подавляющее большинство дантологов полагает, что предки поэта принадлежали к городскому нобилитету. Но фамилия Алигьери не упоминается в хрониках⁵. Естественно заключить, что она была довольно незаметна и никогда не могла похвалиться богатствами и влиянием. Дворянский герб Данте — серебряная полоска на черно-золотом фоне — был впервые прославлен поэтом. . .

В XIII в. Алигьери, как и многие другие мелкодворянские фамилии, постепенно утрачивают феодальные черты. Один из Алигьери — Беллинчоне — входил в 1255 г. в Совет старейшин, пополанское правительство Флоренции; сын этого Беллинчоне, Гвальфредуччо (дядя поэта), отмечен под 1241 г. в списках цеха Ланы. Об отце Данте не известно почти ничего, кроме того, что он не именовался «доминус» и, следовательно, не был ни рыцарем, ни судьей, как часто ошибочно утверждали. Зато сохранились два документа, в которых он фигурирует в роли заимодавца, — возможно, поэт родился в семье ростовщика⁶.

Данте рано осиротел. По завещанию ему досталось немного. Леонардо Бруни сообщает: «Данте накануне изгнания хотя и не был особенно богат, но вместе с тем не был и бедняком, владея средним состоянием, достаточным для достойного образа жизни»⁷. Эта «средняя» по

своим размерам собственность состояла из недвижимости: нескольких земельных участков и домов в городе и в контадо. Все же ее явно не хватало «для достойного образа жизни». Данте вечно нуждался и влезал в крупные долги.

Первые яркие политические впечатления Данте должны относиться к 1280 г. (он достиг того возраста, с которого флорентийцы начинали носить оружие). Пополаны после нескольких лет господства гвельфской знати добились компромисса: было создано смешанное правительство, в которое вошли гранды и пополаны, гвельфы и гибеллины. Посланец папы, кардинал Латино устроил торжественный праздник примирения. Возможно, в шумной, взволнованной толпе, окружавшей нарядные помосты, был и пятнадцатилетний Данте, запомнивший церемонию присяги и символический обмен поцелуями между былыми врагами.

В 1282 г. возник приорат. Пополаны стали хозяевами Флоренции. Началась, говоря словами Джованни Виллаи, «счастливая и благая пора покоя». Коммуна, довольствуясь достигнутыми политическими успехами, не трогала дворянских домов-башен; дворяне, в свою очередь, предпочитали выжидать. Это классовое перемирие не могло быть ни прочным, ни долгим, по флорентийцы спешили насладиться неожиданным затишьем. Данте исполнилось восемнадцать лет, цветами и радостью началась его «новая жизнь», он был влюблен и счастлив. Возможно, именно воспоминания безмятежной юности, протекавшей под сенью «благой поры покоя», сказались в словах Каччагвиды о «прекрасном, мирном быте граждан, в гражданственном живущих единении».

Но в 1289 г. знать воспрянула духом — на улицах вновь запахло кровью. «Прекрасная пора покоя» кончилась. Необычайное обострение борьбы привело в 1293 г. к железным «Установлениям правосудия».

Данте к этому времени уже похоронил возлюбленную и написал первую книгу. Как отнесся возмужавший поэт к событиям, потрясшим родной город, к «Установлениям» и к Джано делла Белла? Мы не знаем, занимался ли тогда Данте политикой. Но попытки некоторых исследователей изобразить Данте врагом «Установлений» явно беспочвенны. Это опровергается всей дальнейшей деятельностью поэта.

Примерно в 1295 г. Данте вступил в цех врачей и торговцев восточными товарами, который, несмотря на свое название, объединял представителей самых разнообразных профессий (в частности, живописцев и переписчиков книг), причем чисто ремесленные элементы были здесь гораздо сильнее, чем в других «старших цехах». Предположения относительно причин, побудивших Данте записаться именно в этот цех, не выходят за пределы остроумных догадок. Бесспорно одно — поэт стремился сблизиться с пополанами и включиться в жизнь коммуны. Данте не был грандом. Поэтому вступление в цех открывало ему, согласно пюльским «Уставлениям» 1295 г., дорогу к любым государственным должностям.

И в самом деле, уже 14 декабря 1295 г. поэт участвовал в выборах приоров⁸. В 1296 г. Данте входил в состав Совета Ста, одного из высших органов коммуны. В июне этого года он выступал и голосовал за принятие антимагнатских решений. 10 декабря того же года и 4 марта 1297 г. Данте голосовал в советах против предоставления субсидий Карлу Неаполитанскому. Как видим, его отношение к анжуйской династии наметилось очень рано.

После раскола горожан на партии черных и белых гвельфов Данте, пишет Боккаччо, «видя, что не может придерживаться своей собственной третьей партии, присоединился к той из них, которая, по его суждению, была ближе к истине и справедливости»⁹ Иначе говоря, Данте решительно примкнул к белым и сразу же начал играть среди них видную роль. Это означало, что Данте стал на сторону пополанов и принял активное участие в борьбе против магнатов. Поступок вполне зрелого человека, тридцатипятилетнего поэта, был, конечно, не плодом каких-то абстрактных побуждений, а неоспоримым доказательством его социальных симпатий.

В 1300 г. Данте побывал в качестве флорентийского посла в коммуне Сан Джеминьяно. Очевидно, он выполнил первое ответственное политическое поручение удачно, так как пополаны избрали его в приорат на биместр июня-августа. На первом же своем заседании (15 июня 1300 г.) новое правительство подтвердило приговор над тремя флорентийскими банкирами, сторонниками черных, ведшими интригу против белых в римской курии. После нападения грандов на цеховую процессию Данте

и его коллеги приняли энергичные меры и отправили в ссылку вождей черных. Приоры заняли твердую позицию по отношению к кардиналу Акваспарте, который был вынужден покинуть город. Словом, приорат, в который входил Данте, действенной, чем последующие правительства, отстаивал пополанские интересы и независимость коммуны против Бонифация VIII и магнатской партии черных. Враги не простили этого Данте: изгнание поэта будет в дальнейшем вызвано прежде всего его деятельностью в 1300 г. в качестве приора. Но Данте и в изгнании вспомнит с гордостью о своем приорстве, судя по отрывку из письма, приводимому Леопардо Бруни: «Все мои беды и несчастья имели причиной и началом мое злополучное избрание в приорат; хотя я не заслуживал этой чести своей умудренностью, но был достоин ее по возрасту и по преданности...».¹⁰

После окончания срока приората Данте продолжает участвовать в политической борьбе, выступает в советах, а в апреле 1301 г. избирается одним из должностных лиц коммуны. Поэт не чуждается обыденных забот горожан и ведает строительством дорог. Тогда же Данте вторично входит в состав Совета Ста.

В период поправления «жирного народа» и усиления соглашательских настроений белых Данте примыкает к левому крылу пополанского лагеря и становится одним из его активных деятелей. 19 июня 1301 г. поэт резко протестует против оказания военной помощи Бонифацию VIII и дважды в один день берет слово в советах, но не собирает большинства голосов¹¹. Показательны сообщения Бруни, что после совета в Санта Тринита Данте предлагает приорам вооружить народ и опереться на пополанские массы¹². 13 сентября 1301 г. состоялось заседание советов, посвященное укреплению «Установлений правосудия» и пополанского строя в целом. Первым выступил Данте. Мы имеем полное право предположить, что поэт был среди тех сторонников белых, которые, по словам хрониста Компаньи, требовали не стремиться к соглашению с черными, а «точить мечи».

Данте еще дважды — 20 и 28 сентября — высказывался публично. Не в его власти было что-то изменить в неотвратимом ходе событий. В октябре 1301 г. Данте вошел в состав посольства к папе Бонифацию. Покидая Флоренцию, он не знал, что покидает ее навсегда.

Уже в Риме Данте настигла весть о сдаче родного города Карлу Валуа, о предательском поведении «жирного народа» и о ноябрьском государственном перевороте.

В «Комедии» поэт отзовется о Карле:

Один, без войска, многих он поборет
Копьем Иуды; им он так разит,
Что брюхо у Флоренции распорет.
Не землю он, а только грех и стыд
Приобретет...

И о стремлении черных к захвату власти (обращаясь к Флоренции):

Иные общим делом тяготятся,
А твой народ, участливый к нему,
Кричит незванный: «Я согласен взяться!»

И о ноябрьском перевороте:

Тончайшие уставы мастера,
Ты в октябре примеришь их, бывало,
И сносишь к середине ноября¹³.

27 января 1302 г. Данте был осужден по приговору подеста вместе с тремя известными пополанскими политиками¹⁴. В приговоре значилось лживое обвинение в казнокрадстве и взяточничестве. Впрочем, в заключение Данте и его товарищи обвинялись также в том, что они способствовали поражению черных гвельфов в Пистойе и тратили деньги коммуны во вред «святейшему папе и господину Карлу ради противодействия его приходу». Поэт был осужден по политическим мотивам, откровенно разукрашенным грязной клеветой.

Само собой разумеется, Данте не явился во Флоренцию и не заплатил штрафа. Под этим предлогом, с четырнадцатью другими деятелями партии белых, его осудили 10 марта того же года вторично. На этот раз поэт был заочно приговорен к сожжению. Дом его снесен, имущество реквизировано. Роковой поворот в судьбе Данте — свершился. Отныне он бездомный изгнанник.

«Три женщины пришли к моему сердцу». Три женщины — Правосудие, Естественное и Общественное право. Они рыдают. Они тоже изгнаны из мира. «И я, услышав в божественной речи столь высоких изгнанны-

ков сострадание и утешение, считаю честью уготованную мне ссылку. Потому что, если силы судьбы захотели, чтобы мир отвернулся от изгнанных белых, то пасть вместе с добрыми достойно лишь хвалы. И если бы глаза мои могли увидеть далекий прекрасный сон, охватывающий меня огнем, я счел бы легкими свои невзгоды. Но этот огонь уже настолько испепелил мои кости и плоть, что смерть к груди моей приставила ключи»¹⁵.

Давно уже замечено, что без этой катастрофы Данте не стал бы Данте. Жестокое, но верное суждение! Замысел «Комедии» мог созреть только после 1302 г. Только после 1302 г. окончательно выковались мироощущение и характер поэта. Изгнание перемешало опыт личный и опыт исторический, теоретические доктрины и повседневную реальность, прошлое и грядущее, искусство и политику. Скитания слили судьбу флорентийца Данте с судьбой Италии.

Вначале Данте казалось, что возвращение на родину не за горами. Его сонеты и канцоны полны трогательных жалоб. «Народ мой, что я тебе сделал?» От мольбы он переходит к угрозам: «Иди же, моя канцона, смело и гордо, ведомая любовью, в мой город, о котором я скорблю и плачу, и найди добрых, чей светильник не светит, а погас, и чья доблесть в грязи. Кричи: восстаньте, ибо к вам я взываю, беритесь за оружие и возвысьте Флоренцию, ибо живет она, бедствуя...»¹⁶

Однако шли годы, а час возвращения все отодвигался. И мольбы, и угрозы — не помогали.

Первое время Данте играл видную роль среди эмигрантов — белых — и даже входил, если верить Бруни, в руководящий совет партии¹⁷. Он жил тогда чувствами, выраженными в письме белых к кардиналу Николаю Пратскому, — письме, вышедшем, возможно, из-под пера самого поэта: «Ради чего мы устремляемся в гражданскую войну с нашими белыми знаменами и обгаряем мечи и копья, как не для того, чтобы те, кто безрассудно наслаждаются нарушением гражданских прав, склонили голову под священным ярмом закона и вернули родине мир. Ибо стрелы наших намерений стремились, стремятся и будут всегда стремиться только к покою и свободе флорентийского народа»¹⁸.

Но непрерывные военные поражения (и в особенности разгром белых в 1304 г.) уничтожили надежды Данте

на возвращение во Флоренцию при помощи силы. Перерождение белых не могло прийти к нему по вкусу. Во Флоренции Данте был в пополанской гуще. А в эмиграции ему пришлось очутиться среди кучки «жирных», предавших город Карлу Валуа, и обломков гибеллинской знати. Эта пестрая клика затевала авантюры, злобствовала и разлагалась. В конце концов Данте возненавидел Черки и прочих так же, как и черных.

Брунетто Латини насмешливо скажет в «Аду»:

В обоих станах, увидав твой труд,
Тебя взалкают; только по-пустому,
И клювы их травы не защепают¹⁹.

Главную роль в эмиграции стала играть феодальная гибеллинская знать, и разрыв Данте с флорентийскими гибеллинами и белыми увековечится в горьком, полном едкого презрения пророчестве Каччагвиды:

«Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Но худшим гнетом для тебя отныне
Общение будет глупых и дурных,
Поверженных с тобою в той долине.
Безумство, злость, неблагодарность их
Ты сам познаешь; но виски при этом
Не у тебя зардеют, а у них.
Об их скотстве объявят перед светом
Поступки их; и будет честь тебе,
Что ты остался сам себе клеветром»²⁰.

Последние слова в подлиннике буквально означают: «... ты будешь счастлив, что сам составляешь свою партию». «Сам свою партию!» Но так оно и было. Не гордость, не оскорбленное самолюбие, не преувеличения поэта, пожертвовавшего точностью выражения ради его эффектности, заставили Данте заявить о своем партийном одиночестве. Так оно и было! Это, разумеется, не значит, что Данте стоял вне борьбы. Как раз наоборот. В титаническом творчестве Данте настолько сильно, широко и своеобразно отразилась современная ему Италия, что существовавшие тогда политические перегородки оказались тесны для поэта.

**«Близок тот,
кто освободит тебя из темницы»**

Провозгласив себя стоящим вне партий, поэт высказывается в своей «Комедии» не только против гвельфов, но и против гибеллинов. «Ибо ты видишь, как безрассудно выступают против святого знамени (империи) и те, кто его присваивают себе, и те, кто отвергают его». Гвельфы «противопоставляют всемирному всенародному стягу желтые лилии» анжуйской династии; гибеллины присвоили имперское знамя и запятнали его, преследуя свои узкопартийные интересы. «Чей хуже грех — не взвесишь на весах».

Данте не по пути с обеими партиями. И он проклинает легендарных зачинщиков междоусобицы: гибеллина Моску Ламберти, который был «злым семенем для тосканского парода», и гвельфа Буондельмонте, «положившего конец бестревожной жизни». Обе партии — «причина всех бедствий»²¹.

Данте заявляет: «Пусть гибеллины занимаются своим ремеслом под другим знаменем, ибо дурно следует этому знамени тот, кто отделяет его от правосудия»²². Так сам поэт клеймит официальный, партийный, дворянский гибеллинизм и доказывает, что его «гибеллинизм» — особого свойства. Ведь понятие «гибеллинизма» как приверженности к империи и к императору само по себе совершенно расплывчато и беспредметно. Что общего между феодалами Уберти, тиранами Скалигерами, мистиком Убертино Казальским, римскими пополанами, иоакимитскими пророками, гуманистом Марсилием Падуанским, еретиком Арнольдом Брешпанским, пизанскими купцами и вождем плебса Дольчино? А все они «гибеллины».

Для понимания социальных истоков политического мироощущения Данте оказывается чрезвычайно поучительным сравнение его с Дино Компаньи²³.

Компаньи, член шелкоткацкого цеха, видный государственный деятель и писатель, принадлежал к средним слоям флорентийского купечества. Пополан до мозга костей, соратник Джано делла Белла, последовательный демократ и враг магнатства, Дино Компаньи лично знал Данте и боролся вместе с ним в рядах партии белых против Корсо Донати и его дворянских друзей. О дворянском

сословии хронист писал, что оно «было создано для защиты правых и наказания виновных, для того, чтоб сражаться, когда есть надобность в этом ремесле, но не для того, чтоб объедаться и жиреть»²⁴.

Как и Данте, Дино до конца оставался непримиримым противником режима, установившегося после ноября 1301 г. Бонифаций VIII, Карл Валуа, Филипп Красивый, Роберт Неаполитанский — для Компаньи так же ненавистны, как и для Данте. Тех, кого обличает Дино в своей хронике, мы обычно встречаем затем в кругах дантовского «Ада». Как и Данте, Дино Компаньи после изгнания белых обвинял верхушку партии во главе с Черки в «алчности», трусости и ренегатстве и считал «пополанов, жаждущих власти, высасывающих привилегии и захвативших дворцы правителей», виновниками гибели города. Как и Данте, Дино не уставал оплакивать судьбу Флоренции и изобличал олигархию «жирного народа» во главе с Россо делла Тоза и Спино.

Нужно подчеркнуть, что Дино ведет эту критику слева, отстаивая чистоту и неизбежность «Установлений» и неоднократно выражая сочувствие пополанским низам. «О преступные горожане, которые развратили и испортили весь мир злыми нравами и бесчестным стяжанием! Вы — те, кто распространяете в мире все дурные обычаи»²⁵. Это мог бы сказать и действительно говорил Данте, говорил в тех же выражениях.

Компаньи, подобно Данте, но не столь, конечно, выпукло и подчеркнуто, изображает алчность как источник несчастий города. У Дино сходная мысль проскальзывает несколько раз мимоходом, у Данте она развернута в целую систему. Как и Данте, Компаньи был страстным борником гражданского мира и единения — эта идея пронизывает всю его хронику от первой до последней главы и составляет ее высокий общественный пафос. Компаньи выступает против тирании. Данте — тоже. Итальянские тирании того времени часто были формой феодальной реакции. Данте клеймит их с обычной своей страстностью, называя подчас те же имена, что и Компаньи (например, маркиза феррарского Адцо д'Эсте VII), и, помещая в адский кипяток, восклицает:

Здесь не один тиран,
Который жаждал золота и крови²⁶.

Авторству Компаньи приписывается этический трактат «Иителлидженца», в котором высказываются близкие к «Пиру» мысли о сущности «благородства». Эти же мысли изложены в принадлежащей Дино «Канцоне о благородстве», родной сестре дантовской канцоны из четвертой книги «Пира».

То, что перед нами не случайные совпадения политических взглядов и деятельности Данте и Компаньи, окончательно доказывается одинаковым отношением обоих современников к папству и империи. Конечно, у Компаньи, писавшего историческую хронику, а не теоретический трактат, только намечены общие политические идеи, но намечены достаточно ясно²⁷.

«Святая римская церковь, которая является матерью христиан, когда преступные пастыри не заставляют ее заблуждаться, обратилась в ничтожество из-за ослабевшего почитания со стороны верующих». Что же может возродить церковь, павшую по вине дурных пап? Церковь нуждается в «защитнике», и таким защитником должен стать император, «который был бы справедлив, мудр и могущественен, сын святой церкви и ревнитель веры». Подобно Данте, Дино полагает, что «императорский престол пустовал после смерти Фридриха II», и сокрушается о том, что «слава и память империи почти угасли» за это время.

Но господь, которого Дино называет (точь в точь как Данте!) «небесным императором», «защитой и поводом государей», пожелал даровать миру Генриха VII. Восторженное отношение Дино к императору Генриху отчетливо мотивируется в хронике. Император не только возродит церковь, вызовет пап из Авиньона, где Филипп Красивый «удерживает их почти силой», даст отпор всем притязаниям французской монархии, по и будет спасителем Италии и Флоренции.

«Господь всемогущий... возжелал, чтобы он (Генрих) явился, дабы сокрушить и наказать тиранов Ломбардии и Тосканы, вплоть до уничтожения всяческой тирании». Обращаясь к «жирным» пополам Флоренции, Компаньи восклицает: «Ныне мир поворачивается к вам спиной: император велит силой своей схватить вас на суше и на море и лишить (награбленного)». «Справедливость божия заставляет восхвалять его величие, ибо новые чудеса показывают тощему народу, что причиненные ему обиды

не забыты господом. Воцарился мир в душах тех, кто испытал обиды от могущественных, когда они увидели, что господь помнит о них. Как можно было убедиться в господнем возмездии, если он так долго медлил и терпел! Но медлил он для вящей кары».

Было бы ошибкой отождествлять мировоззрение Компаньи и Данте. Данте, разумеется, масштабней, глубже, противоречивей. Но очевидная общность политических взглядов поэта и хрониста может объяснить нам в Данте многое. И разве не замечательно, что Дино Компаньи, этот представитель флорентийской демократии и друг бедноты, ждет от империи того же, что и Данте, и горячо приветствует Генриха VII, — а ведь подобное же отношение к Генриху со стороны Данте всегда служило для некоторых исследователей одним из самых «веских» доказательств реакционности социальных позиций поэта.

* * *

Генрих, конечно, менее всего годился для труднейшей роли объединителя Италии.

Человек без особых способностей, плохой полководец и бездарный дипломат, Генрих зато считался образцом рыцарских добродетелей и был искренне убежден в величии своей исторической миссии, стараясь при каждом случае подчеркнуть важность императорского сана. Незначительный люксембургский граф, он в 1309 г. неожиданно попал на трон Фридриха II, и голова его закружилась. Избрание состоялось вопреки воле французского двора, поддерживавшего другого претендента — Карла Валуа. Уже одно это обстоятельство могло бы привлечь к Генриху симпатии Данте. Генриха выдвигал папа Климент V, надеявшийся несколько ослабить свою зависимость от Филиппа IV.

Новый император повел себя властно и с достоинством. Он восстановил юрисдикцию империи над тремя лесными кантонами, вернув им при этом прежние права и вольности, он попытался избавить города от жесткого гнета Вюртембергского и Баденского графов²⁸. Города Швабии поддержали императора против своего сеньора — разбойника Эберггарда, которого Генрих судил на первом же созванном им сейме в Шпейере, где присутствовало много итальянских посланцев. Молва о правосудии нового им-

ператора распространялась по Италии, и Данте, который должен был жадно прислушиваться к вестям из Германии, не мог не сочувствовать заявлениям о мире, законности и справедливости, которыми так щедро были усеяны высокопарные послания, исходявшие из императорской канцелярии.

Когда же Генрих глубокой осенью 1310 г. появился в Италии с маленьким отрядом, «безоружный», как говорит Компаньи, то безрассудная смелость этого предприятия многим казалась доказательством вмешательства небес. Генрих вошел в Италию под мирный перезвон колоколов, не переставая твердить, что намерения у него самые отеческие и что он несет стране тишину и счастье. 1 сентября 1310 г. Клемент V обратился с энцикликой ко «всем светским и духовным лицам, подданным дражайшего сына нашего во Христе, Генриха... а также к отдельным городам и коммунаам Ломбардии и Тосканы». В энциклике говорилось, что Генрих «с чистыми намерениями жаждет и горячо стремится дать мир, помочь обрести покой и обратит к согласию своих подданных в Ломбардии и Тоскане, которые, разобщенные гражданскими войнами, погрязшие в грехах, беспрестанно враждуют между собой»²⁹. Нетрудно представить, с каким чувством вчитывался Данте в эти слова, так полно отвечавшие его сокровеннейшим думам. Он уверовал в Генриха сразу и навсегда. Впервые за годы эмиграции сверкнул луч надежды. И он был не в силах с ней расстаться. Генрих в глазах поэта — мудрый и рыцарственный монарх, о котором пророчествовалось в «Пире». Политическая наивность Данте тем безоглядней, чем глубже его понимание нужд Италии. Болезнь изучена, и указано верное лечение, но взяться за него — некому. Так не Генрих ли долгожданный целитель? Ничто не может быть менее прощательным и более естественным, чем это горькое заблуждение проникательного автора «Монархии».

Особое впечатление, естественно, производил на итальянцев невиданный союз папы и императора. И большинство городов предпочло открыть ворота пришедшему без войск миролюбивому и добродушному завоевателю. Очень широкие круги населения поверили Генриху, и это доказывает, что необходимость объединения уже ощущалась в воздухе. Казалось чудом, что император перешел вброд через высохшую впервые за много лет реку Тезино, что

неукротимый тиран Милана Гвидо делла Торре покорно целовал ноги императора. Павия, Кремона, Генуя, Пиза, Модена, Мантуя, Парма и множество других городов признали власть императора. Ни разу не встретив сопротивления на всем пути от Альп до Милана, принимая богатые дары и пышные приветствия, Генрих возложил на себя железную лангобардскую корону в миланской церкви Сант-Амброджо при огромном стечении народа.

Иногда утверждают, что Генрих VII вздумал отправиться в Италию в чисто грабительских целях. Вряд ли это правильно. Поход Генриха, конечно, носил грабительский характер, но грабеж был для Генриха не самоцелью, а средством. А цели у него были поистине необъятные. Этот бывший люксембургский граф мечтал привести Священную империю к невиданной мощи и славе, восстановить императорскую власть в Италии, разгромив непокорное Неаполитанское королевство, и увенчать дело успешным крестовым походом и отвоеванием гроба господня³⁰. Судя по всей деятельности Генриха, мания величия — его единственная яркая черта. Не исключено поэтому, что провозглашенная императором политика «умиротворения» Италии действительно в какой-то мере отвечала его планам. Чтобы без войска и без денег стать хозяином Италии, необходимо было получить поддержку городов и установить хорошие отношения по возможности со всеми влиятельными политическими группами, с гвельлинами и гвельфами. И Генрих счел полезным надеть на себя маску нейтрального «посредника» между партиями.

Император демонстративно возвращает всех политических изгнанников, независимо от их партийной принадлежности, в Милан, Верону, Кремону, Парму и другие города. Он предлагает вождю итальянских гвельфов Роберту Неаполитанскому дружбу и родство. «Он не желал и слушать напоминаний о гвельфской или гвельлинской партиях», — с восхищением отмечает Компаньи³¹. Послам итальянских городов император заявил, что «он радеет не о части, а о целом». «И почти все гвельфы были утешены теми словами, — рассказывает епископ Ботронтский, — и каждый человек благословлял государя»³².

Громкие фразы и миролюбивые жесты создали ореол вокруг имени Генриха и пробудили надежды в пополанских слоях городского населения. Компаньи писал, что

Генрих «несет мир, как если бы был одним из ангелов божиих»³³. Анонимный генуэзский поэт выражал те же чувства. Генриха приветствовали самые блестящие писатели Италии: Франческо Барберино, философ Феррето деи Феррети из Виченцы, друг Данте Чино да Пистойя, один из зачинателей итальянского гуманизма Альбертино Муссато из Падуи и др. Все эти представители демократической пополанской интеллигенции видели в Генрихе объединителя страны и миротворца. Пополаны Рима в 1312 г., восстав против засилия феодальных баронов, призвали к себе императора, провозгласив суверенность Рима, и Генрих принял имперскую корону с согласия римского народного собрания.

В 1310 г., как раз накануне похода Генриха, в Италии поднялась новая волна плебейско-религиозного движения флагеллантов. «Вся Италия пришла в движение», — рассказывает хронист Делла Тоза³⁴. Возможно, народные массы, обманутые демагогической политикой Генриха, отосились к нему с симпатией, смутно надеясь на социальные перемены. Хронист Виллани указывает, что при осаде Флоренции Генриха поддерживало население контадо и что, если бы Генрих действовал энергично и быстро, он подчинил бы Тоскану и другие земли, так как «души людей были настроены по-разному, ибо об упомянутом императоре шла молва как о справедливом и добром синьоре»³⁵. Несомненно, поход Генриха вызвал в раздраемой социально-политическими противоречиями Италии очень сложную реакцию: гибеллинские бароны, генуэзские и пизанские купцы, римские патриоты, иоакимитские проповедники — все ждали от императора осуществления *своих* чаяний.

«Смерть к груди моей приставила ключи»

Ждал и Данте. У него особое отношение к происходящему. Он приветствует императора еще более высокопарно, чем другие, сравнивая его с Христом — ни более, ни менее. Для него это «титан-миротворец», «божественный Август и Цезарь», «по небесному промыслу король римлян». «Вот агнец божий, который смывает грехи мира!» За всем этим чувствуется, однако, искренность.

Для Данте приход Генриха — действительно величайшая радость, сулящая конец изгнанию и выход для страны из кровавого тупика. Казалось, утопия всемирной империи близка к осуществлению. Ослепленный демагогией Генриха, поэт наделяет его всеми атрибутами идеального правителя. В послании ко всем государям и народам Италии «смирненный итальянец Данте Алпгьерц, флорентинец, невинный изгнанник, молит о мире»³⁶.

Между тем, дни идиллического шествия немецких войск по Италии кончались. Роберт Неаполитанский все более обнаруживал свою враждебность. Клемент V, пе ожидавший столь быстрого роста влияния Генриха, переметнулся в лагерь его противников, за что и был навеки пригвожден Данте к позорному столбу. Французский король, по ироническому замечанию Маркса, «„конечно“, был заинтересован в том, чтобы заменить французское влияние в Италии немецким!»³⁷.

Флоренция, с самого начала занявшая резко враждебную позицию по отношению к императору, стала душой сопротивления Генриху, провоцируя и финансируя любое выступление против него, сколачивая лигу тосканских городов и спешно возводя новые стены. Правящие круги Флоренции, верхушка черных гвельфов, зная, что в императорском обозе следуют изгнанники — белые и гибеллины, не без оснований боялись потерять власть после их возвращения и жестоко поплатиться за 1302 г. Виллани, рассказывая, как во Флоренции снаряжалось посольство для участия в церемонии коронации Генриха Люксембургского, как были уже избраны послы и шились уже пышные одеяния для них и как в последний момент отправка посольства сорвалась, прямо заявляет: на этом настояли «некоторые гранды-гвельфы» из страха, что император сделает гибеллинов хозяевами Флоренции. Николай Ботронтский подтверждает: флорентийские правители объявили Генриха «тираном», который «уничтожил в Ломбардии гвельфскую партию» и собирается сделать то же самое в Тоскане, «вернув их недругов»³⁸.

На позицию Флоренции оказали также влияние ее прочные экономические связи с Францией и особенно — с Неаполитанским королевством. Роберт Неаполитанский в качестве традиционного главы итальянских гвельфов прибыл осенью 1310 г. во Флоренцию, возвращаясь из Германии после коронации Генриха, и постарался сплю-

тить городскую верхушку против императора. С июня 1313 г. во Флоренции установилась власть наместников Роберта сроком на пять лет.

Несмотря на все торжественные заверения Генриха, гвельфы не слишком доверчиво относились к его «внепартийной» политике. Наталкиваясь на их глухую настороженность, император, имевший возможность наглядно сопоставить ее с восторженной, хотя и не бескорыстной преданностью гибеллинов, все более явно отдавал предпочтение последним. «Гибеллины говорили: „Он не желает видеть никого, кроме гвельфов“, а гвельфы говорили: „Он не принимает никого, кроме гибеллинов“. И так боялись друг друга. Гвельфы больше не приходили к нему, а гибеллины навещали его часто, ибо больше нуждались в нем»³⁹.

Иллюзия «беспристрастности» императора развенчалась с каждым днем. После создания в июне 1311 г. гвельфской тосканской лиги даже Компаньи признает, что Генрих вступил в открытый союз с гибеллинами, «а гвельфов и черных считал врагами и преследовал их»⁴⁰.

С меньшим треском провалилась и лицемерная политика «умиротворения». Немецкие наемники Генриха насильничали и грабили, вызывая возмущение даже убежденных сторонников императора.

«Несмотря на погоно за золотыми гульденами, на контрибуции и на дары ломбардских городов, император испытывал постоянную и неприкрытую нужду в деньгах... *Рыцарские отряды были дороги!*». Замечание Маркса вполне подтверждается сохранившимися счетами императорского казначея. «Генрих VII за весь предпринятый им поход только и делал, что *старался добыть деньги*, для того чтобы довести до конца этот затеянный им поход»⁴¹.

Это и явилось едва ли не самой существенной причиной провала Генриха VII. Объединение и умиротворение Италии он, не имея средств, должен был начать с ограбления итальянских городов. В результате «во всех покоренных ранее городах начались волнения, вызванные его *способами разрешения денежных затруднений*»⁴². Например, Милан, вначале восторженно встретивший императора, был обязан внести в его казну сто тысяч золотых флоринов. Половину этой громадной суммы Генрих получил в виде дарений, но вторая половина взыскивалась принудительно. Это вызвало всеобщее возмущение горожан — и богачей, и низов. Епископ Ботронтийский

сообщает: недостающая сумма собиралась в такой обстановке, что он часто не осмеливался пройти от дома домиканского ордена до дворца, в котором обосновался император, из-за проклятий и брани, которыми осыпали миланцы императора⁴³. Волнения кончились избиением немцев. Генрих обрушил на город репрессии и передал власть Маттео Висконти и его дворянам — гибеллинам; Гвидо делла Торре вместе с сыновьями был вынужден спастись бегством.

В других городах происходило то же самое. Помимо поборов ожесточение подогревалось произволом императорских наместников, раздачей земель и замков приспешникам и союзникам императора. Платить пришлось не только гвельфам, но и гибеллинам, нередко разделявшим общее недовольство. Так обстоит дело, например, в Кремопе, которая должна была внести 60 тыс. флоринов. Взимание денег сопровождалось пытками и убийствами. Бесцеремонное хозяйничанье наместника Убальдини вызвало в гибеллинской Пизе не меньшее возмущение, чем в гвельфском Милане.

Уже с 1311 г. итальянские города один за другим встают против Генриха. В 1312 г. обозначается полный провал политики императора. Даже те города, которые прежде добровольно поддерживали Генриха VII, теперь присоединяются к Флоренции — например, Парма. Из тумана широковещательных деклараций, сопровождаемых театральными позами и жестами, вырисовывается не бутафорский, а подлинный облик немецкого императора, чуждого Италии, до нужд которой ему не было дела, бездарного декламатора, готового *«действовать, не останавливаясь ни перед чем»*, только тогда, когда надо было выкачивать гвельфские или гибеллинские деньги из городов, или в тех случаях, когда он лично чувствовал себя „оскорбленным“⁴⁴. Вандальская расправа над Кремоной и Брешией заставила отшатнуться от Генриха немало городов и, казалось бы, должна была рассеять всякие иллюзии.

Но Данте, как и Компаньи, увидел в этой расправе лишь справедливую кару. Италия противится своему спасителю — тем хуже для нее.

В марте 1311 г. «Данте Алигьери, флорентиец, изгнанный безвинно», обращается с грозным посланием к «преступнейшим флорентийцам, оставшимся в городе»⁴⁵. И клеймит правящую олигархию, жирных горожан Фло-

ренции: «О, единодушные лишь ради зла! О, ослепленные удивительной жадностью! Чем вам поможет то, что вы обнесли себя валом, огородились укреплениями и стенами, — когда прилетит орел...» А в письме к Генриху в апреле того же года Данте сравнивает Флоренцию с гидрой, со змеей, с вонючей лисицей, с кровосмесительницей, с больной овцой, с чумой и вообще с чем только возможно. Все это излагалось на нескольких страницах и сопровождалось призывом к немедленному походу на Флоренцию⁴⁶.

В 1311—1313 гг. особенно ухудшилось положение народных масс Флоренции и обострились социальные противоречия в ней. Этому способствовал катастрофический неурожай 1311 г. Стайо зерна стоило полфлорина, бедняки ели хлеб из сорго⁴⁷. К голоду прибавился невиданный рост налогов: для борьбы с Генрихом нужны были деньги. Все финансовое бремя падало на бедноту. Дино сообщает: «... флорентийцы угнетали бедных горожан, отбирая у них деньги...» Виллани глухо упоминает о каких-то вооруженных столкновениях в цехе Лана из-за выборов в консолат⁴⁸. Хронисты указывают, что среди горожан не было единства по вопросу об отношении к Генриху. Любопытно, что Компания приветствует Генриха от имени «тощего народа», а Данте заявляет правителям Флоренции, что народ в конце концов отвернется от них⁴⁹.

Император упустил время, республика собралась с силами и выдержала осаду: стены все же помогли, вопреки пророчествам поэта. Но флорентийские правители крепко запомнили, как вел себя Данте в тяжелые для них дни, — амнистии всегда миновали его, и ему не суждено было больше увидеть «родную овчарню, где он спал ягненком».

Генрих VII не принес ничего хорошего итальянскому народу. Но в раздробленной, изнемогавшей от войн и социальных бедствий Италии этот поход вызвал много прогрессивных, демократических чаяний, сила которых оказалась так велика, что даже падение Брешии и Кремоны не смогло заглушить их. За Генрихом шли многие. И с вдохновением шел Данте.

Когда немецкий авантюрист, враг итальянского народа, внезапно умрет от болотной лихорадки, его оплачут лучшие поэты и философы страны, а Данте, Данте, по капле отдавший Италии соки сердца, — оцепенеет от скорби. И он будет скорбеть до конца дней своих и поместит любимого Арриго в Раю в самом центре мистической

Розы, рядом с господом-богом. «Здесь восседет августейшая душа высокого Генриха, который придет спасти Италию прежде, чем она к этому будет готова. Слепая алчность, что овладела вами, превратила вас в ребенка, умирающего от голода, но отталкивающего кормилицу»⁵⁰. Так скажет Беатриче.

Это — трагическое противоречие, но оно было неизбежным. К нему привела неосуществимость в условиях Италии тех времен прогрессивных идеалов Данте, его мечты о единой родине. Данте заглянул далеко вперед. Но очертания национальной просвещенной монархии он смог принять лишь за обновленную вмешательством небес Священную империю, которая уже тогда принадлежала не будущему, а прошлому. Так мечта Данте резко разошлась с реальностью, а сам Данте оказался в лагере врагов родного края и связал свои самые высокие помыслы с именем честолюбивого негодяя Генриха VII.

Это не вина, а беда его, и одновременно — великая историческая беда всей Италии.

«Вот теперь настало время желанное, и появляются вместе с ним знаки утешения и мира. Ибо засиял новый день зарею, уже разгоняющей мрак долгих бедствий... Радуйся же, несчастная ныне Италия...»

* * *

Генрих умер во время приготовлений к новому походу, собираясь в союзе с Федерико Арагонским и при поддержке пизанского и генуэзского флотов сокрушить своего главного противника в Италии — короля Роберта Неаполитанского. Угроза была осязаемой. И поэтому после 24 августа 1313 г. большая часть Италии впервые за три года вздохнула свободно. Флорентийская коммуна известила: «Привет и радость... Этот ужаснейший тиран Арриго... который под прикрытием империи уже опустошил и разрушил немалую часть провинций Ломбардии и Тосканы, скончал свои дни... Радуйтесь вместе с нами».

Зато Чино да Пистойя сочинил канцону, в которой говорилось, что не Генрих мертв, нет, —

А те мертвы, кто еще жив,

Кто возлагал на него все надежды⁵¹.

Так писал друг Данте. Сам Данте молчал. Смерть императора была для него чертой, подводившей трагиче-

ский итог огромной полосы жизни. В «Пире» можно найти распространенное тогда деление человеческой жизни на четыре возраста: до 25 лет — юность, затем — до 45 лет — молодость, до 70 лет — старость, после 70 — дряхлость. Данте в 1313 г. было сорок восемь лет. . .

«Гвидо, я хотел бы, чтоб ты, и Лапо, и я были по волшебству перенесены на корабль, и чтобы плыл он, чуть подует ветер, по морю, куда захотим вы и я, и чтоб судьба и непогода не могли помешать нам. И мы жили бы, как заблагорассудится, все больше привязываясь друг к другу. И чтоб добрый волшебник поместил с нами монну Ванну и монну Ладжа, и ту, что под номером тридцатым. И мы бы всё говорили о любви, и каждая из них была бы довольна, — как, думаю, и мы»⁵². Этот юношеский сонет, не вошедший в «Новую жизнь» («та, что под номером тридцатым», подруга поэта, была не Беатриче), окрашен прозрачным настроением, задумчивым и лукавым изяществом.

Потом много воды утекло в Арно. Данте и Гвидо Кавальканти (к которому обращен сонет) оказались в разных политических лагерях. Гвидо заболел в ссылке и скончался. А вскоре Данте тоже попал в изгнание. В «Пире» он, думая о своей судьбе, вновь прибегает к образам корабля и плавания. Но уже без доброго волшебника.

«После того как угодно было гражданам прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, Флоренции, исторгнуть меня из ее нежного лона, где я родился и был вскормлен до зрелой поры и где я всем сердцем хочу успокоить усталую душу, дожив отпущенный мне срок, — я скитался, словно бродяга, почти по всем краям, где говорят на этом языке, и являл собой, помимо воли, каковы удары фортуны, в которых обычно несправедливо обвиняют павших. Поистине я был судном без руля и без ветрил, которое сухой ветер горестной бедности несет в разные гавани и заливы, к разным берегам»⁵³.

Смерть Генриха VII была для Данте сильнейшим разочарованием. Он не сломился, наоборот — отвердел, еще больше замкнулся. До конца дней он не переставал ждать перемен для Италии и для себя. В «Раю» пророчества звучат едва ли не чаще, чем в предыдущих частях поэмы. И у Данте ничуть не убавилось политической страстности. Но ожидания, и страсти, и раздумья — все

обрело какую-то новую сосредоточенность, какую-то грозную гармонию. И все переплавлялось в стихи, поражающие зрелостью гения.

Именно в эти годы о нем стали рассказывать легенды. Облик Данте — строгий и печальный, саркастический и ребячески непосредственный — именно в эти годы поразило воображение современников, уже прочитавших «Ад».

В 1315 г. Данте мог воспользоваться амнистией и вернуться во Флоренцию. В соответствии с новым законом для этого нужно было подвергнуться публичной церемонии покаяния и внести денежный залог. Кто-то из флорентийцев поспешил уведомить поэта. Данте ответил удивительным письмом.

«Нет, не таков путь возвращения на родину, отец мой. Но, если я узнаю от вас и от других, что возвращение не умалит славы и чести Данте, я отзовусь на это торопливыми шагами. Если же иначе вернуться нельзя, я не вернусь во Флоренцию никогда. К чему? Неужто мне не будут всюду светить те же солнце и звезды? Или я не смогу под любым небом доискиваться до сладчайших истин, ежели не вернусь обесславленный и опозоренный во Флоренцию, к ее народу? И я, конечно, не буду нуждаться в куске хлеба»⁵⁴.

Мы мало знаем о последних годах Данте. Впрочем, эти годы были заполнены созданием «Чистилища» и «Рая». Здесь и нужно искать главное. Данте жил в Вероне, но много путешествовал. При дворе Кан Гранде он, видимо, чувствовал себя не слишком уютно. В конце концов поэт нашел пристанище у гостеприимного Гвидо да Полента, властителя тихой Равенны.

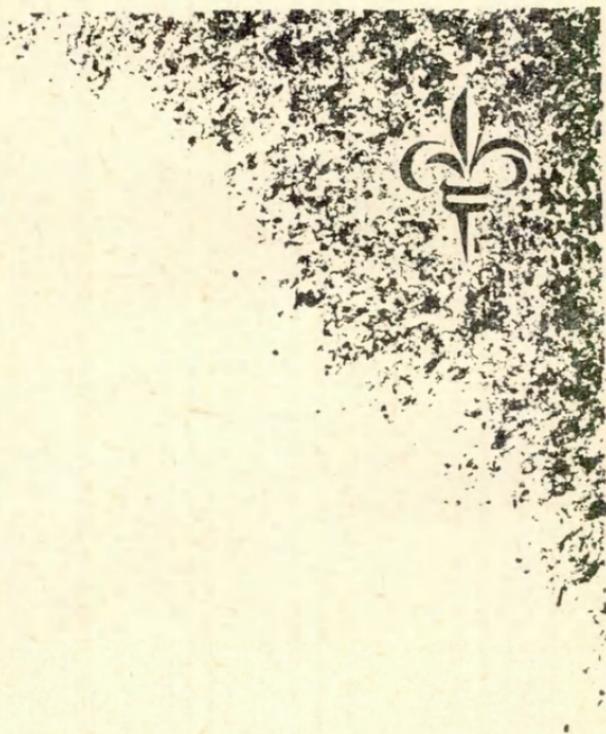
В «Пире» еще раз возникает тема корабля-судьбы. Но теперь его влечет не легкий ветер любви и не буря изгнания. Наступают старость и смерть. Душа со спущенными парусами входит в гавань успокоения и предается воспоминаниям; так купец, подплывая к порту, подсчитывает прибыль, вспоминает, как она досталась ему — «и благословляет проделанный путь»⁵⁵. «Вот человек, который от самого дна вселенной и досюда увидел одно за другим наказание, очищение и блаженство».

В 1321 г. Данте завершил «Комедию». Его путь был проделан.

В ночь на 14 сентября 1321 г. Данте Алигьери скончался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

У ИСТОКОВ ГУМАНИЗМА





«Истинное мерило человеческого благородства»

Звенящие в кармане купца или банкира полновесные флорины неуклонно вели к пересмотру социальных ценностей. Веселый певец съенских улиц Чекко Анджольери был тысячу раз прав, когда писал об этих флоринах:

Они прославят и дадут дерзанье,
И все таланты заиграть заставят,
Все сделают возможными мечтанья.
Не говори же: «Род меня прославит!»
Коль денег нет — напрасны ожиданья,
Скажи: «Я прах, и мною ветер правит».

За несколько десятилетий до Чекко болонский нотариус Бене ди Болонья отметил то же самое в своем «Письмовнике» — не так, правда, красноречиво, но зато более кратко: «Святейшая в наши времена вещь — величие богатства»¹.

Богатый попопан скупал дворянские земли и подавал к взысканию дворянские векселя, шею ни перед кем не гнул и держался с достоинством. Оставалось идеологически оформить то, что на деле совершили деньги. У феодалов была в деталях разработанная культура

с выпранными правилами «куртуазности» и изысканнейшей поэзией трубадуров. Нужно было создать в противовес нечто не менее импонирующее.

Так возникает морально-эстетический идеал «сладостного стиля». Благородство происхождения заменяется личной доблестью. Основатель этой поэтической школы Гвидо Гвиницелли заявлял в ставшей затем каноном канцоне «Любовь всегда ищет приюта в благородном сердце»: «Солнце ежедневно освещает грязь, но грязь остается презренной, а солнце не теряет жара. Иной человек говорит: „Я благороден ибо таков мой род“. Он подобен грязи, а благородство — солнцу. Ибо нельзя поверить, что может быть благородство без мужества, благородство, доставшееся по наследству»².

Итак, мерилом человеческого достоинства объявлялось «благородство сердца». Куртуазная поэзия тоже восхваляла возвышенность души. Но души рыцаря, только рыцаря. А поэты «сладостного стиля» лишили куртуазный идеал сословной основы. Они взяли из него очень многое, включили почти все его нормы в свой моральный кодекс, оснастив схоластическим рационализмом. Однако родовитость как непеременимое, само собою подразумевавшееся условие — выбросили.

Это происходило в конце XIII в., когда над Италией едва забрезжил рассвет новой эры. Ранней буржуазии только предстояло выкристаллизоваться и начать свою тяжбу со старым миром. Пока она была еще частью этого мира и дышала его воздухом. Вся ее идеологическая работа могла вестись только в старых формах, которые казались неподвижными, а на самом деле меняли содержание в ее руках. В те времена право на моральное превосходство мог дать лишь аристократизм. Поэтому вместо благородства происхождения ранняя буржуазия выдвинула благородство духа. Это, по сути, первый побег того растения, которое позже даст пышный цвет гуманизма. Интеллектуальный аристократизм поэтов «сладостного стиля» перейдет в аристократизм гуманистов: тот и другой выросли на одной социальной почве, тот и другой означают самоутверждение попола на в обществе, где пока господствует дворянская мораль. «Сладостный стиль» еще не расстался со средневековой поэтической традицией, а гуманисты уже отметають феодальную культуру. Но это — вехи одного пути³.

Алигьери, начав как верный ученик Гвинецелли, создал высочайшие образцы «сладостного стиля». И хотя он очень быстро перерос своих учителей и для его мощного реализма оказались слишком тесными рамки утонченной стилизации болонского мастера, он бережно сохранил главное в школе Гвинецелли — не поэтические условности, а социальный идеал «благородной души». Данте, развивая идеи знаменитой канцоны Гвинецелли, перед которым он до конца жизни преклонялся и называл не иначе, как «великий Гвидо», также сочиняет канцону о «благородстве» и пишет к ней ученый комментарий, составивший четвертую книгу трактата «Пир». В «Пире» передовое мировоззрение эпохи впервые предстало в зрелой и развернутой форме. Позднее Петрарка и Поджо Браччолини лишь повторят мысли Данте.

«Я оставлю мой сладостный стиль, которым пользовался, рассуждая о любви, и скажу о добродетели, делающей человека истинно благородным, в жестких и острых стихах»⁴.

Учение флорентийского изгнанника об «истинном мере человеческого благородства» было дерзким вызовом вековым традициям. Поэт прекрасно сознавал это. Он подчеркивал, что выступает против господствующих, общепринятых представлений, которых придерживаются «почти все» без каких-либо логических оснований, как чего-то само собой разумеющегося. Среди человеческих заблуждений «я особенно осуждаю одно, которое не только вредно и опасно для тех, кто в нем пребывает, но и другим, порицающим его, приносит беду и ущерб. Это — заблуждение относительно человеческих достоинств, заложенных в нас природой, и относительно того, что следует называть „благородством“. В результате дурного обыкновения и малого разума, это заблуждение настолько укоренилось, что почти все имеют на сей счет ложное представление. А ложное представление породило ложные оценки, ложные же оценки породили несправедливые почести и поношения. Из-за чего добрых считали презренными вилланами, а злых почитали и возвышали. Это — наихудшее в мире неустройство. . .»⁵

Прямо требуя отказа от принципов, которые определяли социальную ценность человека в феодальном мире, Данте понимал, на что шел: «О, сколь велико мое начинание». Предстояло «выполоть поле, заросшее клевером,

поле общественного мнения, столь долго заполненное этим сорняком»⁶.

Данте очень обстоятелен. Он не упускает ни одного аргумента. И просит читателей не удивляться детальности комментария. Ибо кто до Данте занимался этим великим вопросом? И разве не следует уделить ему особое внимание? «Я не могу говорить коротко перед лицом стольких противников»⁷.

Нигде и никогда Данте не высказывался с такой полнейшей социальной ясностью, как на страницах четвертой книги «Пира». Ибо «помощь столь неотложна, что было бы нехорошо таить мысль под покровом каких-либо образов, но нужно вводить лекарство кратчайшим путем, чтобы скорее пришло исцеление... Поэтому читателю незачем искусно обнаруживать в изложении какие-либо аллегории, он должен лишь уразуметь суждения в соответствии с их буквальным смыслом»⁸.

Попробуем последовать этому совету Данте. И прежде всего постараемся установить, кому предлагал поэт свое «лекарство»? У каких читателей надеялся встретить понимание?

«Пир» написан на итальянском языке. Это само по себе было дерзостью. Хотя итальянский язык завоевал уже прочные позиции под пером поэтов и хронистов, ученые сочинения продолжали выходить в свет на латинском языке. А «Пир» был ученым сочинением. Вот почему Данте счел нужным посвятить первый трактат «Пира» обоснованию и защите своего необычного выбора.

Сопоставляя итальянский «народный язык» — «вольгаре» — с латынью, Данте в общем и целом склонен поставить выше латинский язык. Позже, в труде «О народной речи», поэт изменит свое мнение в пользу «вольгаре»⁹. Здесь же, в «Пире», несмотря на горячие признания в любви к итальянскому языку («во мне не просто любовь, а совершеннейшая любовь к нему»), Данте все-таки отдает (по крайней мере, теоретически) пальму первенства латинскому. Он отмечает большую разработанность латинского языка, его удобство для выражения отвлеченных понятий, точность конструкций и стабильность лексики. «Народный язык повинуется обычаю, а латинский — грамматическому искусству»¹⁰. Правда, Данте заявляет, что итальянский превосходит провансальский, французский и другие «народные» языки.

Правда, автор «Новой жизни» восторженно прославляет достоинства «вольгаре», подчеркивая, что «на нем можно изложить высочайшие и новейшие мысли пристойно, полно и изящно, почти как на латинском»¹¹. И все-таки, «латинский язык — повелитель народного языка»¹².

Это очень любопытно. Повторяем, впоследствии поэт стал смелее отстаивать итальянскую речь, но сейчас нас интересуют не лингвистические идеи Данте. Если он в период написания «Пира» полагал, что «вольгаре» кое в чем уступает латинскому, то почему «Пир» создан именно на «вольгаре»?

Данте перечисляет три причины: было бы неуместно к итальянским канцонам сочинять латинский комментарий; им руководила «естественная любовь к своему языку»; итальянский язык доступен гораздо большему числу людей¹³.

Первое соображение носит формальный характер. Психологическое соображение — «естественная любовь» к «вольгаре» — не объясняет, почему трактат «О народной речи» Данте позднее напишет все же на латинском. Остается социальный довод. И это решающий довод.

Трактат «О народной речи» охватывал специальный круг вопросов, и для него целесообразно было избрать латинский язык — язык тогдашней образованности. Цель «Пира» — иная. «Новейшие мысли», высказанные в нем, отвечали интересам итальянских пополюнов.

«Латинский язык одарил немногих, но вольгаре поистине послужит многим». Те, к кому обращается поэт, не знают латыни. А если кто-нибудь и знает, то «одна ласточка не делает весны». Латинский «не всем близок», но «вольгаре» «дружен со всеми». Вот простая истина, которую Данте повторяет на разные лады десятки раз¹⁴. Написанный на латинском языке, «Пир» был бы доступен только образованным людям, «остальные же его бы не поняли». Не таков замысел поэта. Его «Пир» должен был стать «всеобщим пиром», где нашло бы духовную пищу «почти бесчисленное число тех, кто ее лишен». «Дать одному и усладить одного — это хорошо, но дать многим и усладить многих — это еще лучше, ибо похоже на благодеяния бога, который оказывает их всему миру». «Вольгаре нас связывает с самыми близкими людьми, с родственниками, с нашими согражданами и с нашим народом. Это и есть

вольгаре, и он не просто близок, но в величайшей степени близок каждому». Нет никаких сомнений в том, что Данте рассчитывал на массового читателя. Такого читателя в тогдашних условиях могла дать только пополанская среда.

Впрочем, нам незачем ограничиваться косвенными умозаключениями. Данте высказывался открыто. Среди тех, кто не разделяет его взглядов на значение итальянского «вольгаре», он усматривал две категории. Одни — «отвратительные и зловредные итальянцы» с «распутными языками», поносящие народную речь из зависти к тем, кто владеет ею лучше их, или из желания похвастать ученостью. Данте называл их «лживыми поводырями», явно имея в виду своих противников, принадлежащих к пишущей братии.

Другие — это «слепые и обманутые», «которым почти нет числа». Доверившись поводырям, они «угодили в яму ложного мнения» и не знают, как оттуда выбраться. Среди слепых — «особенно лица пополанского звания (*le popolari persone*), занятые всю жизнь каким-либо ремеслом». «И так как нельзя в мгновение ока облечься в одеяние моральной или интеллектуальной добродетели, приобретаемой лишь опытом, — а они свой опыт обретают в каком-либо ремесле и не заботятся о том, чтобы разбираться в иных вещах, то они и не в силах обрести разумение». И часто эти люди кричат так, что выходит: «Да здравствует наша смерть» и «Да сгинет наша жизнь». Они подобны стаду овец, прыгающих вслед за одной¹⁵.

Следовательно, «лица пополанского звания» обычно ошибаются в вопросах, выходящих за рамки их повседневного опыта, и повторяют традиционные глупости, противоречащие их истинным потребностям. Данте резко отличал этих «слепых», повинных только в невежестве и в доверчивом следовании предрассудкам, от «поводырей». «Поводырей» он ненавидел, «слепым» хотел помочь. Именно к ним обращен его трактат.

Данте стремится изобличить не заблуждающихся, а заблуждения¹⁶. Он бранит тех, кого надеется просветить. Он проповедует теорию «истинного благородства» тем, кто благороден, хотя и не сознает этого. «Вы, для пользы и услаждения коих я пишу, в какой слепоте вы живете, не поднимая взгляда к этой истине и уперев его в грязь вашей глупости»¹⁷.

Некоторых исследователей¹⁸ смущало, что Данте, перечисляя желанных читателей «Пира», упоминает «государей, баронов и рыцарей, и многих других благородных людей». Но поэт надеялся внушить дворянам правильные этические представления и побудить государей управлять в соответствии с требованиями философии. Впрочем, Данте тут же адресовал свою книгу «многим другим благородным людям, не только мужчинам, но и женщинам, коих множество, знающим этот народный язык и не имеющим образования». И добавлял: «Это относится лишь к тем, в ком есть семя истинного благородства»¹⁹.

Только признав, что поэт ориентировался на массовую демократическую аудиторию, мы поймем смысл и пафос его слов о «всеобщем пире»: «Это будет тот ячменный хлеб, которым насытятся тысячи... Это будет новый свет, новое солнце, которое взойдет там, где закатится старое»²⁰.

Но окончательно в том, что тысячи «истинно благородных» людей, к которым адресуется Данте, — горожане, убеждает четвертая книга «Пира», подробно поясняющая, что нужно понимать под «истинным благородством». Этическое учение «Пира», насквозь попопанское и антифеодалное, представляет собой одну из вершин идеологии Данте.

Итак, ошибались и Аристотель, и Фридрих II, сказавший, что благородство заключается «в богатстве, сопряженном с древностью происхождения». Лживо мнение тех, кто называет благородным такого человека, который может сказать: «Я — племянник или сын такого-то достойного», хотя бы сам и был ничтожеством. Внешний лоск и хорошие манеры — лишь «очень малая часть благородства». Все, что в состоянии дать и отнять фортуна, — родственные связи и браки, пышные дома и обширные владения — также не порождает благородства. Данте, разумеется, не собирался заменять старые идолы золотым тельцом (что отнюдь не мешало ему объективно выражать дух раннебуржуазной эпохи). Богатство неизменно по своей природе и никак не в силах облагородить человека. Еще менее это может сделать древнее происхождение²¹.

И Данте, чтобы втолковать нам суть дела, прибегает к сравнению. Предположим, два человека стремятся перейти через поле к дому, стоящему на другой его стороне. Первый путник, «благодаря своей предприимчи-

вости, т. е. осмотрительности и благому таланту, ведомый только самим собою, прямым путем приходит туда, куда стремится». Нам не трудно узнать в этом путнике знакомые черты дантовского современника — энергичного, способного и удачливого пополана. А второй путник бредет позади, по следам первого, не отличаясь его достоинствами. Ясно, что это не кто иной, как родовитый дворянин, «сын такого-то, а сам ничтожество». «Кто из них двоих доблестен? Отвечаю: тот, кто шел впереди. Как назовем второго? Отвечаю: подлейшим»²².

Значит, в чем же заключается благородство? Во внутренней ценности самой человеческой личности. «Под словом „благородство“ я понимаю совершенство собственной природы в каждой вещи»²³. Всем своим трактатом Данте утверждает: если ты смел, умен и великодушен, если ты обладаешь одиннадцатью аристотелевскими добродетелями — ты благороднее любого родовитого болвана.

Где это сказано, что доблесть непременно связана с рыцарями или «почтенными людьми духовного сословия»? «Если доблесть похвальна в рыцаре, то она похвальна во многих; один одет хорошо, другой — плохо, но чистая доблесть прекрасна в каждом»²⁴.

Данте рассчитывал, что земные властители придут в восторг от его теории... Ведь цари должны любить истину. И посему — «каждый царь возрадуется, что опровергнуто фальшивейшее и вреднейшее мнение злых и обманутых людей, искаженно судивших до сих пор о благородстве»²⁵. Нетрудно упрекнуть поэта в наивности. Не лучше ли, однако, отметить, что утопическая империя Данте явно мыслилась им как государство, где будут почитаться способности, а не родовитость. Так этика Данте сливалась с его политикой.

«Пусть не говорит кто-либо из флорентийских Уберти или миланских Висконти: „Раз я из такого рода, значит — я благороден“. Ибо божественное семя западает не в род, а в отдельных лиц. Не род делает отдельных людей благородными, а отдельные люди делают благородным род»²⁶.

В феодальном обществе — как раз наоборот — индивидуум что-то значил лишь постольку, поскольку он принадлежал к общине, цеху, сословию, роду и т. д. Тот, кто порывал эту крепкую пуповину, оказывался за бортом официального общества. Ко времени Данте все стало меняться. Появление ранней буржуазии разрывало патриар-

хальные узы и предоставляло простор пнициативе и способности отдельной личности. И вот Данте, негодовавший против разгула алчности, приветствовал, однако, тех, кто «благодаря своей предприимчивости», «ведомый только собою», достигает нелегкой цели. Поэту не дано было, конечно, понять, что вдохновлявшие и возмущавшие его общественные сдвиги — две стороны одной медали. Гордое самосознание индивидуума и кризис традиционной морали, расширение умственных горизонтов и жажда жизни, обновление искусства и крушение иллюзий — так крайне противоречиво преломлялись экономические процессы в идеологии и психологии эпохи. Данте впитал в себя эту противоречивость. Он был детищем своего века и тогда, когда отвергал его, и тогда, когда опережал его. В конце концов, он шел с ним вровень.

В главе «О сладости человеческого счастья» Данте писал, что все люди от рождения одинаковы. «Несомненно, Аристотель рассмеялся бы, услышав о двух породах человечества, словно речь идет о лошадях или ослах; пусть простит меня Аристотель, по ослами вполне можно назвать тех, кто так думает». Люди составляют единый род, и сущность их едина. Поэтому о благородстве нужно судить „по эффектам“ (курсив мой. — Л. Б.), т. е. по результатам человеческой деятельности. Как сказал Христос, „по плодам их познаете их“²⁷.

Это гуманистический взгляд. Как иначе охарактеризовать мысли Данте? Он черпает доводы у Екклесиаста, но также — у Овидия. Он ссылается на Аристотеля и на Евангелие. Что ж, на Евангелие после Данте будут ссылаться и гуманисты, и протестанты. На Евангелие до Данте ссылались еретики. Свежесть теорий Данте — в их связи с конкретной исторической почвой, а не в абстрактной аргументации. Важно, что именно отбирал Данте в той же Библии и как использовал.

Позволительно ли считать человека низкого происхождения благородным? Если — нет, «если знатность не рождается заново», тогда она восходит к Адаму. Но тогда все благородны!

Трудно сказать, кому впервые в средние века пришел в голову этот соблазнительный довод. Ветхозаветный Адам неоднократно оказывался союзником тех, кто не мирился с сословным неравенством. Разве людской род не произошел от одного прародителя? — «наша вера

лгать не может». Но в таком случае, «если Адам был знатен, мы все знатны, а если он был низкого происхождения, мы все низкого происхождения»²⁸.

Флорентиец Данте запальчиво возражал «тем заблуждающимся, которые полагают, что виллана никогда нельзя назвать благородным человеком и о человеке, являющемся сыном виллана, также никогда нельзя сказать, что он благороден». И продолжал: этот предрассудок «преграждает путь виллану стать когда-либо благородным *посредством свершенных им деяний* (курсив мой. — Л. В.) или посредством какого-нибудь случая...» Здесь суждения Данте обретают резкость, необычную для ученого трактата. Он строит изложение по формуле: «И если противник вздумал бы сказать... то я отвечу». Может быть, он имеет в виду не только воображаемых противников. Он иронизирует, он бушует. «И если противник вздумал бы сказать, что в других вещах благородство определяется достоинствами вещи, но в людях — тем, что стерлась память о низком их происхождении, то на такое скотство хотелось бы отвечать не словами, а ножом»²⁹.

Это яростное восклицание всегда озадачивало тех, кто хотел видеть в поэте дворянского апологета. Ссылались на то, что Данте высказал здесь «доктринерский, неисторический взгляд», от которого отказался позже в «Монархии»³⁰. Действительно, в «Монархии» Данте сделал шаг назад, пытаясь как-то согласовать два противоположных социально-этических принципа. Но вовсе не отказался от главной идеи, провозглашенной в «Пире». Он указывал, что благородство бывает двоякого рода. Человек облагораживается или собственной добродетелью, или добродетелью предков. Данте приводил «два суждения о двух благородствах». Одно суждение, уже известное нам, принадлежит Аристотелю, а другое — Ювеналу, которого Данте цитировал: «Благородство заключается только в душевной добродетели». Допуская на сей раз благородство происхождения, поэт все же на первое место ставил «собственное благородство».

Такого рода колебания и непоследовательность, как мы увидим, вообще характерны для Данте. В 1313 г., когда создавалась «Монархия», они объяснялись еще и особой причиной. Было слишком трудно начисто отмести древние гербы, ожидая свободы и единства Италии от рыцарей Генриха VII. К тому же поэт стремился обосновать

право римского народа на всемирное главенство, объявляя, что это право принадлежит римлянам как благороднейшему народу, происходящему от Энея. Данте не желал отказываться от ссылки на историческую преемственность и от аргумента насчет высокого происхождения родоначальника итальянцев, аргумента, имевшего важное значение в глазах большинства его читателей. И поэт смягчил мнение, столь решительно высказанное в «Пире», чтобы найти лишнее доказательство в пользу своей основной политической доктрины. Указав *вначале* на личные достоинства Энея («то, что, следовательно, относится к его собственному благородству»), Данте напоминал затем и о «том, что им унаследовано»³¹.

Вспомним, что мы находимся в XIV столетии. Ни Гвиццелли, ни Данте, ни Петрарку нельзя понимать так, словно в их глазах родовитость не имеет ровно никакой цены. Им хотелось лишь доказать, что, с одной стороны, родовитость сама по себе не делает благородным человека, лишенного личных достоинств, и, с другой стороны, благородным может быть и человек низкого происхождения. Словом, не в длинной родословной главное. Но, отстаивая свою социальную полноценность, «третье сословие» всегда было равнодушно к блеску аристократизма и знатности. В начале XIV в. это особенно понятно.

Данте тоже чрезвычайно гордился своими рыцарскими предками и простодушно восклицал:

О скудная вельможность нашей крови!
Тому, что гордость ты внушаешь нам
Здесь, где упадок истинной любви,
Вовек не удивлюсь; затем, что там,
Где суетою дух не озабочен,
Я мыслю — в небе, горд был этим сам³².

Но не трудно ощутить, что, со всей непосредственностью обнаруживая аристократическое тщеславие, поэт относился к нему как к собственной и общечеловеческой слабости, немного иронизируя над «скудным благородством нашей крови».

Нельзя не заметить сокрушения, с каким Данте перечислял погибшие или измельчавшие феодальные фамилии, «громкие в старину». Важно подчеркнуть, однако, что не к современной ему знати, а к прошлому, к исчез-

нувшему поколению рыцарей обращено сочувствие Данте. «Дай слезам излиться, так душу мне измучил мой рассказ», — говорит романист Гвидо дель Дуко, вспоминая

Дам, рыцарей, и войны, и забавы,
Во имя благородства и любви,
Там, где теперь такие злые нравы³³.

Поэту дорог этот гибнущий куртуазный быт, воспетый сотнями трубадуров. Ибо Данте не стяхнул еще с себя очарования феодальной культуры. Но сожаления о былых временах перерастают в беспощадное обличение нынешнего дворянства, безнадежно утратившего достоинства предков. И Данте не скупится на выражения, указывая на графов Коньо, Кастрокаро «и многих других», «превратившихся в вырожденков». Тема не новая для поэта, посвятившего специальную канцону выпадам против «мнимых дворян, злых и преступных».

В «Чистилище» казнимый за гордость граф Омберто произносит примечательную речь:

Рожден от мощных предков, в древнем блеске
Их славных дел, и позабыв, что мать
У всех одна, заносчивый и резкий,
Я стал людей так дерзко презирать,
Что сам погиб...³⁴

В этих словах мы вновь узнаем автора «Пира». Но характерно и то, что, внимая Омберто, поэт в смущении «опустил голову». Данте осуждает Омберто, однако тем самым он осуждает и собственные, не вполне еще изжитые аристократические предрассудки.

Данте горд и сознает это³⁵. Двадцать лет ему пришлось мытарствоваться, нища приюта у княжеских дворов, и все многочисленные легенды о Данте сходятся на том, что самолюбию поэта не раз наносились жестокие удары: высокие личные достоинства не могли искупить в те времена отсутствия громкого родового имени или богатства, и сиятельные хозяева не всегда относились уважительно к флорентийскому поэту. Сам Данте роняет по этому поводу горькие намеки в «Пире» и в «Комедии». И несомненно, именно это обстоятельство придает такой страст-

ный, такой глубоко личный характер трактату об истинном благородстве. Вместе с тем неудивительно, что Данте не прочь лишний раз напомнить: и в его жилах течет древняя кровь.

Данте здесь двойствен, как и во всем. Но нужно различать в нем главное и второстепенное. Если он и аристократ, то его аристократизм предвещает гуманистов. «Этот Данте, *вследствие своей учености*, был несколько высокомерен, горд и презрителен, *и как философ*. (курсив мой. — Л. Б.), был неприветлив и не умел хорошо беседовать с мрянами»³⁶. Тем, кто изображал человека, утверждавшего, что «мать у всех одна», как высокомерного дворянина, следовало бы поучиться проницательности у хрониста Джованни Виллани, автора приведенных строк.

Портрет, нарисованный Виллани, встает перед глазами, когда читаешь в «Пире» насмешливые строки о «невеждах, которые, не зная азбуки, готовы спорить о геометрии, астрологии и физике». Отказав в атрибуте благородства гибеллинским феодалам — Уберти и Висконти, Данте зато наделил им поэта Гвиницелли. Он учил, что благородство и философия — подруги. Следовательно, приобщение к философии значит больше, чем родовые владения и титулы. «Нигде я так не достоин хвалы, как в этом трактате, ибо, говоря о благородстве, я докажу, что я сам благородный, а не виллан»³⁷.

Рядом с графом Омберто казнится Одеризи из Губбьо — тоже за гордость. Но у Одеризи — особая гордость, отличающаяся, как день от ночи, от дворянской спеси Омберто. Одеризи славился в XIII в. как искуснейший миниатюрист — «тот, кем горды мастера живописи». «Быть первым я всегда усердо метил...» Гордость Одеризи — это гордость талантливого плебея. «Правдивый твой рассказ смирил мне сердце, сбив нарост желаний», — откликается Данте на рассказ Одеризи³⁸. Ибо гордость Данте — тоже честолюбивое чувство художника, сознающего силу своего гения. В Лимбе он вступил как равный в круг величайших поэтов античности. И рассказал об этом с непередаваемым достоинством. Сердце Данте «согрето жаждой пенейских листьев». Торжественное коронование венком из «пенейских листьев» — листьев лавра — считалось тогда высшей почестью для поэта. Данте так и не дождался лаврового венца. И писал,

обращаясь к Аполлону, покровителю искусств, о «желанной листве»:

Ее настолько редко рвут, отец,
Чтоб кесаря почтить или поэта,
К стыду и по вине людских сердец . .

Нужно знать, чем был для Данте титул императора, чтобы оценить силу этого дерзкого сопоставления: поэт рядом с кесарем.

«Комедия» откроет ему путь на родину, надеется Данте, и коронование лавром состоится во Флоренции. . .

В ином руне, в ином величьи звонком
Вернусь, поэт, и осенью венцом
Там, где крещение принимал ребенком, —

убаюкивает себя мечтами изгнанник³⁹. Однако как все сложно в нем! Он, вопреки своей этической теории, смущенно восхваляет благородство крови, но казнит за это же Омберто; он благоговеет перед славой рыцарских времен, но сам жаждет иной славы.

«Не ниже ангелов!»

В «Аду» есть замечательная сцена. После долгого подъема по адским кручам Данте, задыхаясь от усталости, присел передохнуть. И. . .

Теперь ты леность должен отместя, —
Сказал учитель, — лежя под периной
Да сидя в мягком, славы не найти,
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной.
Встань! Победи томленье, нет побед,
Запретных духу. . .⁴⁰

Вслушайтесь в эти слова. Старое мироощущение не знало такой бодрой воли, такой неиссякаемой энергии, такого жгучего стремления оставить след в делах и памяти человеческой, выразить свою индивидуальность. Средневековому аскету был бы непонятен гремящий призыв Вергилия. А Данте воспрянул в ответ: «Идем, я бодр

и смел!» — и старается скрыть, побороть усталость. Кровь флорентийского горожанина кипит в нем, слава маячит перед глазами, слава, в которой спасенье от небытия. Ибо Данте забывает тут о своем католицизме: не в небесах, а на земле хотел бы он жить вечно, в памяти грядущих поколений, «среди людей, которые бы звали наш век старинным. . .»

Правда, в разговоре с Одеризи слышится, как будто, нечто другое:

О тщетных сил людских обман великий,
Сколь малый срок вершина зелена,
Когда на смену век идет не дикий!
Кисть Чимабуэ славила одна.
А ныне Джотто чествуют без лести,
И живопись того затемнена.
За Гвидо новый Гвидо высшей чести
Достигнул в слове; может быть, рожден
И тот, кто из гнезда спугнет их вместе,
Мирской молвы многоголосый звон —
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он.
В тысячелетье так же сгинет слава
И тех, кто тело ветхое совлек,
И тех, кто смолк, сказав «ням-ням» и «вава», —
А перед вечным — это меньший срок,
Чем если ты сравнишь мгновенье ока
И то, как звездный кружится чертог.

Подобное отрицание славы говорит в ее пользу красноречивее, чем десятки восхвалений. «Цвет славы — цвет травы». Но не потому, что она суетна, противоречит христианскому смирению и аскетической морали, а потому что

...лучом согрета,
Она линяет от того как раз,
Что извлекло ее к спянью света.

Одна слава затмевается другой, большей. Это не отрицание славы с «небесной» точки зрения, а утверждение земной относительности ее. Более того, сомнения — возможна ли личная слава — неожиданно превращаются у Данте в гимн нескончаемому развитию творческих сил человечества. За Чимабуэ — Джотто, за Гвипицелли

и Кавальканти — он, Данте: все выше взлетают живопись и поэзия. Так всегда бывает, «если на смену век идет не дикий». На смену шел не дикий век. Наступало Возрождение.

Америка будет открыта через полтора столетия. Но уже выпустил в свет свою книгу Марко Поло. В 1291 г. отправились в далекий путь — вокруг Африки в Азию — отважные братья Вивальди и не вернулись. Как даптовский Улисс... Образ Улисса овеян, говоря словами Энгельса, «характерным для того времени духом смелых искателей приключений».

Ни печаль к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойной
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмogli смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор.

А когда перед маленьким судном после долгой дороги открылась неведомая ширь Атлантического океана, и дрогнули сердца, Улисс обратился к спутникам с речью, звучащей поистине титанически:

О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постижению повизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный.
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли.
Но к доблести и знанию рождены⁴¹.

Где социальные корни подобного мироощущения? Пожалуй, лучшим историческим комментарием к возвышенным словам дантовского Улисса могут служить советы флорентийского купца Джованни Морелли в его назидании сыновьям: «Не занимайся торговлей или иным делом, в котором ты ничего не смыслишь; делай то, что умеешь делать, а прочего остерегайся, чтобы не попасть впросак. И если хочешь во что-либо вникнуть, привыкай к тому сызмала, бывай с другими в лавках, в конторах, путешествуй, изучай купцов и товары, посмотри своими глазами на страны и земли, где ты замыслил торговать...»

С 18 лет, учит Морелли, следует, «приступая к торговле, немного изведать мир, взглянуть на города, узнать нравы, образы правления и местные условия». И посвятив этому три или четыре года, «ты станешь более опытным и сведущим во всем...»⁴²

Какими бы далекими ни казались житейские наставления тертого флорентийского толстосума, обучающего своих детей великому искусству наживы, от благородной страсти Улисса к бесстрашному познанию мира, — все же рассуждения Морелли есть, так сказать, социальная изнанка речей дантовского героя. Здесь уместно вспомнить известные замечания Маркса, сделанные в связи с анализом мелкобуржуазной идеологии: «... не следует думать, что все представители демократии на самом деле лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и индивидуальному положению они могут быть далеки от них, как небо от земли. Представителями мелкого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в состоянии преступить тех границ, которых не преступает жизнь мелких буржуа, и потому теоретически они приходят к тем же самым задачам и решениям, к которым мелкого буржуа приводят практически его материальные интересы и его общественное положение. Таково и вообще отношение между *политическими и литературными представителями* какого-нибудь класса и тем классом, который они представляют»⁴³.

Вот почему, как ни чужд Данте пошлой ограниченности Морелли, этого типичного представителя «жирного народа» Флоренции, все-таки великий поэт, бичевавший корыстолюбие «толстых» и «далекий от них, как небо от земли», отражает в теоретической сфере интересы именно нарождающейся буржуазии, когда он воспекает человеческое познание.

«Все люди по природе своей стремятся к знанию», «в знании заключается высшее совершенство нашего счастья». Это одна из излюбленных мыслей Данте⁴⁴. Способность познания получена человеком от бога для достижения блаженства. Мудрость — «супруга небесного императора». «О вы, что хуже мертвецов, избегающие дружбы с нею, откройте глаза и взгляните...»

Но какого рода мудрость предлагает Данте взорам своих читателей? Он может, например, досконально описывать иерархию ангельских чинов, порядок небес

и расселение на них херувимов, серафимов и прочих. И для вящей убедительности сослаться на овидиевские «Метаморфозы». Эта причудливая смесь католического и античного встречается у Данте повсюду. В «Комедии» он просит благословения у «святых муз» и Аполлона. Стражем чистилища оказывается римский республиканец Катон Утичский, проводником поэта — Вергилий. С того момента, когда Данте и Вергилий садятся в чели перевозчика мертвых душ Харона и пересекают воды Ахеронта, мы вступаем не только в загробное царство христианства, но и в страну античной мифологии. Плутос, Минос, Цербер, кентавры — мифологические персонажи в облике католических чертей. Античные сюжеты, имена, реминисценции непринужденно переплетаются с библейскими сюжетами и именами современников поэта. Данте стоит у истоков того культа античности, который дал само название Возрождения.

Культ античности сочетается у Данте с культом разума⁴⁵. «Жить для человека — значит мыслить». Тот, кто не ведает жизненных целей и путей, мертв. «Иной может спросить: „Как же это он мертв, но ходит?“ Отвечаю, что в нем умер человек и осталось животное». Человеку присущи три способности — способность к жизни (ею обладают уже растения), способность к ощущению (ею обладают уже животные) и способность к мышлению. Только последнее — собственно человеческое свойство. Между тем «подавляющая часть людей живет скорее согласно ощущению, чем разуму». Такие люди «имеют человеческую видимость, но душу овцы или еще какой-нибудь твари». Человек заключает в себе возможности низших форм, растительной и животной, в сочетании с главным и специфическим — логическим мышлением.

И вот душа, сливаемая в одно,
Живет, и чувствует, и постигает.

Эта классификация не является изобретением Данте. Он пользуется, как и во многих случаях, сочинениями знаменитого схоласта Фомы Аквинского. Дантологами написаны десятки книг, в которых устанавливается, кому из предшественников обязан Данте теми или иными суждениями и определениями. Одни доказывали, что Данте в богословии и философии — верный ученик Фомы.

Другие полагают, что Данте испытал — через произведение Альберта Великого — сильное влияние арабско-греческой философии, в частности Аверроэса. Для обоих утверждений есть веские основания.

Но слишком часто упускали из вида, что Данте умеет быть смелым и оригинальным мыслителем даже тогда, когда он внешне ограничивается пересказом чужих положений. Он действительно многое берет у Фомы Аквинского. Однако берет не все без разбора, а лишь то, что нужно и важно ему, Данте. Подчас готовые определения из арсенала схоластики он ставит в новую связь. Осмысливает по-своему. Неожиданно переставляет акценты. И схоластические формулы наполняются гуманистическим содержанием. Поэтому Данте бывает ближе к ренессансной эпохе, чем кажется с первого взгляда.

Например, Данте заявляет, что истинные философы бескорыстно любят знание. Наслаждение или польза не могут быть целью философии⁴⁶. Что это, схоластическая догма? Нечто противоположное гуманистическим представлениям о знании как источнике наслаждения и инструменте практического действия? Данте поясняет: не философы те, что «дружат со знанием ради пользы, каковы юристы, врачи и почти все церковники (!), которые учатся не ради знания, а чтобы приобрести деньги и должности». У Фомы Аквинского этого нет... По словам Данте, философия «отвлекает мысли своих друзей от низких и земных вещей», учит «презрению к вещам, которые другие делают господами над собою». Это звучит как проповедь аскетизма, но не имеет с ним ничего общего. Данте понимает «пользу» как «корысть». Философия должна служить общечеловеческим, а не своекорыстным интересам. «Низкие и земные вещи» в контексте «Пира» означают не что иное, как «богатство, сопряженное с древностью происхождения». Следовательно, Данте ратует за внутренние, интеллектуальные ценности, наделяющие «истинным благородством». Он заставляет избитые аскетические формулы подкреплять свою этическую теорию, расковывающую личность.

Между тем наука для Данте — именно источник общественной пользы, а не отвлеченное умозрение. «Всем людям, в которых совершенная природа запечатлела любовь к истине, представляется наиболее важным, подобно тому как их обогатили труды древних, так и самим

работать для потомков и обогатить будущее. Ибо кто, вскормив свой ум общественными науками, не заботится принести что-либо для пользы общества, тот далек, несомненно, от своего долга», — так начинается трактат, созданный Данте, дабы указать политический путь Италии и человечеству. Данте ежеминутно ссылается на священное писание, его трактат по форме еще совершенно средневековый, но разве не является уже прямым ударом по бесплодию увядающей схоластики, бесконечно пережевывающей канонические тексты, эта первая глава «Монархии»? «Я желаю ради общественной пользы „не только зеленеть, но и приносить плоды“, обнаруживая неизведанные другими истины. Ибо какой прок от того, кто вновь приводит какую-нибудь теорему Эвклида, или кто пытается вновь обнаружить обнаруженное Аристотелем блаженство, или кто вторично защитил бы старческий возраст, уже защищенный Цицероном? Несомненно, никакого; но, напротив, это излишнее и скучное начинание возбудило бы неудовольствие»⁴⁷.

Различая два вида счастья — деятельной и созерцательной жизни, — Данте ставит выше созерцание. Средневековая христианская догма? Несомненно. В Евангелии есть притча о Марте, хлопотавшей по хозяйству и старавшейся услужить Христу, и о Марии, усевшейся у ног пророка и слушавшей его слова. Христос сказал: «Мария избрала благовую часть»; как полагает Данте, «наш господь хотел тем показать, что созерцательная жизнь лучше, хотя и деятельная хороша». Но если так, не следует ли, говоря о благородстве, иметь в виду прежде всего дорогу, ведущую к нему через «интеллектуальные добродетели» созерцательной жизни? «На это можно коротко ответить, что каждое учение должно учитывать способности учащихся и вести их по наиболее легкому для них пути. Поэтому, поскольку моральные добродетели (т. е. добродетели «деятельной жизни». — *Л. Б.*) более распространены, известны и необходимы, чем иные. . . было полезней и уместней пойти именно этим путем. . . ибо нельзя, изучая воск, познакомиться с пчелами столь же хорошо, как изучая мед, а ведь то и другое производится ими»⁴⁸.

Итак, теоретически признавая преимущества созерцания, Данте спешит обосновать свое внимание к «деятельной жизни». Он не отказывается почтить «воск», но сам устремляется к «меду». Автор «Комедии» многократно

воспел человеческую активность. Этика Данте построена на понятии свободы воли и на требовании активности. Недаром в Чистилище есть даже особая кара за «вялую любовь к добру».

Точно так же Данте как будто готов, вслед за Фомой Аквинским, провозгласить, что вера выше разума⁴⁹. Мы узнаем в «Комедии» о вере:

Она — основа чаемых вещей
И довод для того, что нам незримо.

И еще:

Пам подобает умозаключать
Из веры там, где знание не властно.

А знание не властно, когда дело доходит до всевозможных теологических тонкостей.

Попстпне безумные слова —
Что постижима разумом стихии
Единого в трех лицах естества.

Поэт принижает разум перед лицом веры? Еще одна и притом худшая средневековая догма? С первого взгляда — так, на деле — иначе. Данте пишет в «Пире», что разум не в силах из-за недостатка фантазии понять божественные вещи. Незачем, однако, бранить за это человека. Тому виной не он, а мировая природа, т. е. бог. Было бы гордыней задаваться вопросом, зачем бог так устроил.

Здесь возникает весьма каверзное для Данте затруднение. Человек — совершенное существо, поскольку совершенен разум. Но разум не в состоянии постичь «бога, и вечность, и первую материю». Следовательно, «естественная жажда знания» не удовлетворяется полностью. Как же быть с совершенством разума и человека, как неполному знанию стать источником счастья?

«На это можно дать ясный ответ». И Данте действительно дает очень ясный ответ. Он сводится к тому, что каждая вещь измеряется пределом внутренних возможностей. Ее совершенство — в достижении возможного предела. Человеческая жажда знаний определяется тем, что можно познать в «этой» жизни, «той наукой, которую можно получить здесь». А желать невозможного — противоестественно. «И так как нашей природе недоступно познание бога и некоторых других вещей, то в нас и нет

от природы стремления познать их». Так разрешается затруднение.

Вновь, ревностно следуя за Фомой Аквинским, мысль Данте вдруг делает смелый поворот. Пути поэта и знаменитого богослова неприметно, но, по существу, непримиримо расходятся. Фома отделял разум от веры, чтобы возвеличить веру. Данте низко склоняется перед верой, но возвеличивает все-таки разум. Он отстаивает независимость разума — по крайней мере в «этой» жизни. Он отстаивает независимость земных целей от небесных, философии от теологии, империи от папства⁵⁰. Отсюда уже объективно недалеко до гуманистических идей.

Обосновывая этическую теорию, Данте вынужден был выступить против авторитета Аристотеля. В оправдание неслыханного поступка он «очень осторожно» утверждал, что неподчинение авторитетам порой бывает правомерным. Он, Данте, ни в коем случае не отказывается от «должного подчинения» авторитетам, но власть авторитетов имеет границы. Разве не сказал «учитель философии» Аристотель, что истина дороже друга? И Данте восхваляет «силу истины, которая побеждает любой авторитет»⁵¹.

Философскую оригинальность Данте следует искать не столько в истолковании космогонических или иных вопросов, сколько в его очень свободном отношении к материалу, в самом подходе к проблеме знания и к философии. Гуманизм Данте мог просвечивать сквозь схоластику, ибо Данте умел выбрать в схоластике живые и сильные свойства, характеризовавшие былые периоды ее расцвета, изощренное и стройное движение логической мысли, гордый своей мощью рационализм. Нельзя забывать, что в начале XIV в. в Европе не было еще никакой другой философии, кроме богословской. Но в творениях Данте из кокона схоластики уже нетерпеливо выглядывает душа ренессансного человека.

В одной из глав «Пира» Данте рассуждает о доподлинности библейских чудес. Однако следующую главу начинает так: «Среди всех деяний божественной мудрости человек — самое чудесное»⁵². Человек — «божественное животное», а его душа — «благороднейшая из форм, порожденных под небесами». Данте любит слова Евангелия о человеке, который «не ниже ангелов». Он не удовлетворяется и этим: «Осмелюсь сказать, что человеческое благородство в том, что касается многих его результатов,

выше благородства ангельского, хотя последнее в целом божественней».

Нас не должно поражать то обстоятельство, что Данте при помощи богословских рассуждений то и дело старается согласовать свое восторженное отношение к «рожденному летать человеческому роду» с католическими догмами. Поучительно сравнить Данте с одним из самых блестящих гуманистов Пико делла Мирандолы, который в трактате «О достоинстве человека» писал: «В конце дней творения создал бог человека, чтобы познал законы вселенной, научился любить ее красоту, дивиться ее величию. . . О, высокая благодать божественного отца! О, дивное и возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет. . . Человеку дана возможность опуститься до уровня животного, но также и возможность подняться до уровня существа богоподобного — исключительно в зависимости от своей внутренней воли».

Нетрудно заметить сходство рассуждений Мирандолы и Данте. Между тем, несмотря на религиозную терминологию, учение Мирандолы не имеет ничего общего с католическим мирозерцанием. Постоянные ссылки на бога служат, в конечном счете, для доказательства божественности человека. Данте опирается на Фому Аквинского, по схоластические силлогизмы приводят его к неожиданным выводам, предвещающим уже трактат Мирандолы, и в пламенном рассказе Улисса слышится трубный глас нового времени.

Но иногда Данте как бы спохватывается. «Комедия» вдруг начинает звучать совсем по-иному. И после свежести морского простора, дышащей в словах Улисса, мы ощущаем затхлый запах монастырской кельи.

О христиане, гордые сердцами,
Несчастные, чьи тусклые умы
Уводят вас попятными путями!
Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетлепный,
На божий суд взлетающий из тьмы⁵³.

Мы сразу отброшены на несколько веков назад, и если и напрашивается сопоставление, то уже не с Мирандолой, а с мистиком Бернардом Клервосским. С искренним

умилением вслушивается Данте в «напев неизреченной благодати»: «Блаженны нищие духом». Это Данте-то «нищий духом»! Тот Данте, который сказал: «Нет преград, запретных духу». Какое характерное противоречие, какая раздвоенность — еще не осознанная, но вскоре неизбежно превращающаяся в мучительный душевный разлад Петрарки!

«Смири в нем силу смертных порываний»

«Священная поэма» разворачивает перед нами назидательное зрелище мук и блаженств загробного мира. Но — странное дело! — хотя Данте от первой до последней песни поэмы проводит совершенно средневековую мысль о том, что земная жизнь есть лишь краткий миг подготовки к жизни вечной, — повсюду у него проступает напряженный интерес именно к земной жизни. Данте ведет нас на небо, но приводит на землю. Мучающийся в аду Чакко восклицает:

... я прошу: верпувшись в милый свет,
Напомни людям, что я жил меж ними ⁵⁴.

Поразительно, что с такой же просьбой обращаются к Данте Брунетто Латини, три гвельфа. Всякий раз, когда Данте хочет расположить к себе души и заставить их рассказать о себе, он обещает им славу и память о них на земле ⁵⁵.

Пусть память ваша не пройдет бесплодно
В том первом мире, где вы рождены,
Но много солнц продлится всенародно.

Подобные обещания безотказно развязывают языки, и один лишь Бокка находит в себе достаточно здравого смысла, чтобы ответить:

Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый:
Нашел чем льстить среди ледяных болот! ⁵⁶

Обитатели загробного мира думают и говорят о земном. Их волнуют судьбы родного края ⁵⁷. Их терзают политические страсти, и, например, для Фаринаты, «гордо

озирающего Ад», мысль о поражении гибеллинов «большей, чем ложе мук». Отец Гвидо Кавальканти беспокоится о сыне. Гвидо Монтефельтро опасается опозорить свою честь среди живущих. Нино Висконти горячо сетует на жену, вскоре после его смерти вторично вышедшую замуж. Сания думает о делах родной Сьены. Адрпан заботится о воспитании племянницы. Форезе недоволен бесстыдством флорентийских женских мод. Манфред просит передать привет дочери и опровергает клевету по поводу собственной смерти. Перед мысленным взором страдающего от жажды Адамо блещут «казентинские ручьи, с зеленых гор свергающие в Арно по мягким руслам свежие струи».

В Аду Данте с любопытством смотрит на драку фальшивомонетчика и клятвопреступника и вслушивается в их темпераментную ругань. На протяжении целых тридцати строк читатель наблюдает итальянскую уличную сценку, не очень приличную, зато колоритную, пока не вмешивается разгневанный Вергилий, укоряя пристыженного флорентийца: «Позыв их слушать — низменный позыв»⁵⁸. Значит, удовлетворены и реалистическая наблюдательность Данте, и его христианская порядочность. Непринужденная сочность этой и многих других сцен как будто не вяжется с целями «священной поэмы». Но Данте грешит ради покаяния. И неосознанно лукавый композиционный прием часто позволяет ему вводить в «Комедию» насквозь мирские мотивы. Он разрабатывает их увлеченно и подробно, с тем чтобы тут же — впрочем, вполне искренне — осудить эту увлеченность, свой «низменный позыв».

Появление Данте произвело необыкновенное впечатление на обитателей Чистилища, которые, «дивясь, бледнели, увидав живого». «И толпа счастливых душ глядела в мое лицо, забыв стезю высот и чаянье прекрасного удела». Вид *живого* человека заставил забыть умерших об ожидающем их вечном блаженстве! В одной из теней Данте узнает своего друга певца Каселлу и просит его спеть.

«Любовь, в душе беседуя со мной», —
Запел он так отрадно, что отрада
И до сих пор звенит во мне струной.
Мой вождь, и я, и душ блаженных стадо
Так радостно ловили каждый звук,
Что лучшего, казалось, нам не надо⁵⁹.

Что там лицемерие бога, что там вечное блаженство, когда звучит, напоминая об оставленной земле, нежная песня Каселлы! На этот раз не устоял даже добродетельный Вергилий. Суровому Катону пришлось гневным окриком напомнить «ленным душам» об их христианской цели. Ибо хотя Возрождение уже начинается, но Средневековье еще не кончилось.

И так — на каждом шагу. В каждой песне «Комедии» можно найти отражение жадного интереса и любви Данте к миру реальному, а не мистическому. Чего стоят одни лишь сравнения поэмы, в которых оживают перед нами быт Италии и ее природа⁶⁰.

Адские могилы, по мнению Данте, сопоставимы с древними кладбищами в Истрии и Провансе, а округлые скважины третьего круга похожи на мраморные купели флорентийской церкви Сан Джованни. Желая дать представление о кручах Чистилища, поэт подчеркивает, что карабкаться по ним труднее, чем по тропе, ведущей от Лериче к Турбин, в горной Лигурии. Но не удовлетворившись этим, в следующей песне перечисляет новые маршруты. . . Следы обвалов в Аду заставляют его вспомнить о нагромождениях скалистых обломков на реке Адидже близ Вероны. А впечатления от каменных отколов над адской рекой и от плотины, которую воздвигали вдоль беспокойной Brentы, оказываются в пользу падуанских строителей, а не сатаны: их сооружение выше и шире.

Увиденное на том свете — отпечаток пестрых земных ощущений. Азартные игроки в кости; толпа, окружающая глашатая; пенне под орган; кипение смолы и трудовое оживление в венецианском Арсенале; ступенчатый подъем к собору Сан Миньято; живописная изгородь крестьянского виноградника; огни сельской долины в вечерний час, «когда комары сменяют мух», — все служит материалом, из которого Данте творит загробный мир. И чтобы создать картину столпотворения грешных душ, он вспоминает наплыв паломников в Рим в 1300 г. и описывает, как было организовано движение по мосту у замка Святого Ангела. В восьмом круге Ада, как выясняется, дело поставлено точно таким же образом.

Впрочем, мы быстро привыкаем к тому, что грешники то выглядывают из смолы, как лягушки, то тычутся, словно муравьи, то плетутся, подобно овцам, то напоми-

пают церковную процессию. И когда поэт сообщает, что черти топят души, как поварята мясо в супе, — просто-народная, грубоватая сочность сравнения вполне в стиле осязаемого материального Ада.

Но вот в Раю, в торжественном богословском финале поэмы, святой Бернард за недостатком времени прерывает свои речи, «как хороший швей, кроящий скупое, если ткани мало». Страшная ассоциация для человека, воздевающего взор к святому духу! А там, где поэту потребовалось сказать, что хоровод райских мудрецов вновь закружился, — мы читаем: «священный жернов опять стал молотъ».

Этот «священный жернов» шокировал не одно поколение литературоведов-дантологов, усматривавших здесь столь редкое для Данте нарушение эстетической меры и вкуса. Однако сегодня подобные детали «Комедии» воспринимаются, пожалуй, как невольный «прием острашения». Одного непринужденного реалистического мазка достаточно, чтобы мистический рассказ поэта вдруг откровенно обнаружил для современного читателя свою условность. И вот мы, уже готовые было поверить в дантовские небеса, смотрим на них чуть проницательно и «очужденно».

Ибо все дышит жизнью в «Комедии», и полон выразительности образ ее главного героя — самого Данте. «Он вполне жив»⁶¹. Он с какой-то варварской жестокостью издевается над своими врагами и восторженно прославляет друзей. Он полон то страха, то любопытства, то сочувствия и тысячи других чувств. И даже в Эмпирее Бернард Клервосский молится богородице о Данте: «Смири в нем силу смертных порываний»⁶².

Среди многообразных «человеческих порывов» (*i sovimenti umani*), пробуждающих в Данте человека нового времени, особое место занимает та страсть, о которой сказал он сам в беседе с Бонаджунтой: «Когда любовью я дышу, то я внимателен; ей только надо мне подсказать слова, и я пишу»⁶³.

Нельзя сказать, чтоб средневековье не воспевало любви: вопреки официальной, церковной морали существовала великолепная лирика трубадуров и вагантов. Но у трубадуров реальное чувство порой таится за покровом условности и стилизации; у вагантов оно обычно примитивно и беспорядочно, их любовные песни — чаще бунт крови, чем протест сердца против церковных догм.

А у Данте все поднято на такую высоту поэтического осмысливания, наделено такой чистотой и благородством, что от слез, проливаемых «сочувственным к муке сокровенной» поэтом во время рассказа Франчески, недалеко уже до сознательного разрыва с духом аскетизма. И все же несчастные влюбленные мучаются в Аду. Живая любовь заглушается у Данте «музыкой сфер» и превращается в любовь религиозно-мистическую, ту, что «движет солнце и светила». Только средневековому поэту могла прийти в голову мысль изобразить любимую женщину в виде отвлеченной аллегории, символом богословской премудрости.

Но вот появляется перед нами Беатриче на аллегорической колеснице, в окружении «праведного сонма» аллегорических старцев и аллегорических дев, в аллегорической одежде, три цвета которой означают три богословских добродетели. И что это? Теологическая категория? Или образ любимой, светлая память о которой согревала стареющего Данте? «Дух мой былой любви изведал обаянье», — восклицает поэт. И — потрясенный, «с мольбой во взоре» — оборачивается к Вергилию, чтобы сказать:

Всю кровь мою
Пропизывает трепет несказанный:
Следы огня бывшего узнаю.

Нет, это не просто схоластическая аллегория. Символический замысел, будучи связан с именем милой Биче Портинари, наполняется гулками ударами сердца, прерывистым дыханием воспоминаний. Живая жизнь входит в символ, превращая его в неподдельную реальность. И наоборот, величественная аллегория, возникшая в искренне религиозном уме, окутывает Беатриче сверкающей одеждой, уносит ее в небеса. И облик ее приобретает стройность и торжественность, наполняется строгой одухотворенностью, напоминающей леонардовскую «Мадонну среди скал». Так религиозная аллегория и земная реальность переливаются одна в другую, просвечивают одна из-под другой. Эта психологическая двойственность является удивительной особенностью творчества Данте, цельного в самой своей противоречивости^{с4}.

Но, в конце концов, потому лишь волнует высоко парящий над землей ослепительный образ Беатриче, что

все же за ним дыхание совсем обычной, хотя и громадной, человеческой любви. Нет спору, что XXX песнь «Чистилица» — это изображение встречи души, прошедшей по кручам преисподней, с божественным откровением; это католический напев под высокими сводами готического собора. Но Данте не был бы «первым поэтом нового времени», если бы в той же XXX песне «Чистилица» не заключалось нечто совсем иное.

Уже уставший, стареющий человек встречается с любовью далеких юношеских лет. Какие воспоминания, какие слезы и терзания совести, раскаяние и просветление, какие боль и радость, какой яркой накал души! Целая повесть ушедшей жизни.

Была пора, он находил подмогу
В моем лице; я взором молодым
Вела его на верную дорогу.
Но чуть я, между первым и вторым
Из возрастов, от жизни отлетела,
Меня покинув, он ушел к другим...

* * *

Напряженный интерес к внутреннему миру человека во всей его полноте и яркости, сочувственное отношение к живым человеческим страстям, воспевание силы и дерзаний пытливого человеческого духа. Стремление к славе, честолюбивая жажда бессмертия в памяти людей.

Все эти черты, составляющие психологический фон творчества Данте, имеют глубоко социальный смысл, ибо они означают освобождение личности из оков аскетической морали.

Однако это освобождение — скорее стихийное и объективное, чем сознательное и субъективное. Данте — человек новой эпохи, который сам не осознал еще этого и который именно потому остается также средневековым человеком. То, что говорит Данте, порой совершенно отлично от того, что он собирается говорить. Религиозно-аллегорический замысел и план поэмы, мистическая символика чисел, огромная богословская эрудиция определили окраску «Божественной комедии». Но нельзя не ощутить, что формы, которые одевают идеологию Данте, — результат своеобразной инерции, характерной,

впрочем, в той или иной мере для всего раннего Возрождения. Непривычные мысли и чувства, подсказанные личным и социальным опытом, Данте пытался уложить в прокрустово ложе схоластического мировоззрения. Отсюда причудливое и сложное переплетение того, что вскоре погибнет, и того, что, пройдя красной нитью сквозь творчество Петрарки, Боккаччо и других, оплодотворит искусство будущего.

«Стихами моей Комедии клянусь»

Данте полагал, что в литературном произведении за «буквальным смыслом» следует искать иной, аллегорический смысл («тот, что таится под покровом этих вымыслов и является истиной, скрытой за прекрасной ложью»). Например, античный миф об Орфее, который пением приводил в движение деревья и камни, — в глазах Данте аллегория, и понимать ее нужно так: «мудрый человек своей речью успокаивает и смиряет грубые сердца».

Это, конечно, традиционный средневековый подход к искусству. Хотя Данте тут же роняет очень любопытное замечание: «Поистине теологи толкуют (аллегорический) смысл иначе, чем поэты; однако я намереваюсь следовать за поэтами и беру аллегорический смысл так, как им пользуются поэты». Значит, для автора «Пира» поэзия — всегда иносказание, но светское, а не религиозное.

Помимо аллегории в литературе могут быть еще два скрытых «смысла»: «моральный» и «агогический», т. е. богословский. Могут быть, но не обязательны. Искать религиозный, «агогический смысл» надлежит лишь в «писаниях, которые, обладая достоверным буквальным смыслом, значительностью своего содержания свидетельствуют о высших вещах, относящихся к вечной славе». Например, библейский рассказ о бегстве иудеев из Египта имеет в виду спасение души от греха.

Сквозь «буквальный смысл» должны просвечивать все остальные. Поэтический вымысел оказывается поводом для назидания. Расчленив «прекрасную ложь», нужно обнаруживать за ней абстракцию. И хотя Данте всячески подчеркивает важность «буквального смысла»,

его теория о «четырех смыслах» повернута к прошлому⁶⁵.
Перед нами концепция символического искусства.

И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!⁶⁶

Однако мы превратно оценим эстетические взгляды Данте, если увидим в них только это⁶⁷. Нетрудно счесть флорентийца послушным учеником томистской эстетики. Но рассуждая об искусстве как теоретик, он оставался великим практиком. Разумеется, художественная практика Данте сильно обгоняла его теорию. Все же непонятно, как он мог бы стать «первым поэтом нового времени», не выходя за рамки средневековых представлений о задачах искусства. Восхваляя Данте-поэта и порицая Данте-мыслителя, полезно иногда вспомнить, что они были знакомы друг с другом. И если мыслитель впрямь плохо влиял на поэта, то разве поэт не оказывал благотворного воздействия на мыслителя? А если так, то не сложнее ли эстетика Данте, чем это кажется с первого взгляда? Ведь в устах создателя «Комедии» даже внешне традиционные положения приобретали особое звучание.

В «Пире» мы читаем: «Никакой художник не был бы в состоянии нарисовать фигуру, если бы он не представлял себе ее заранее такой, какой она должна быть»⁶⁸. Это сказано не столько о метафизической божественной идее, предшествующей искусству, сколько о важности продуманного замысла, предшествующего воплощению. Это пишет автор поэмы, один план которой, по мнению Пушкина, гениален. Математическая точность и стройная логика композиции «Комедии» немислимы без предварительных усилий ума, когда, по выражению Данте, «каждая часть прикладывает руку к главному замыслу»⁶⁹.

Точно так же, если Данте заявляет: «... очень часто форма не согласуется с намерениями искусства, ибо материя глуха и не отвечает», — то здесь не столько богословская мысль, сколько соображение мастера, знающего всю трудность поэтического ремесла⁷⁰.

«Рай» изобилует жалобами на творческие рифы. Нужно было придать пластическую достоверность и осязаемость небесным откровениям и восторгам: задача,

ставившая подчас в тупик даже Данте. Поэт прибегал к риторическим умолчаниям. Рассказ делался прерывистым: «И так, при изображении Рая, святой поэме приходится прыгать, словно встретив препятствие на пути. Но тот, кто вспомнит о тяжести темы, лежащей на смертных плечах, не станет стыдиться, если они дрожат под нею»⁷¹.

Словесная материя казалась «глухой и не отвечала». Последняя песня «Комедии» полна сокрушений о несовершенстве человеческой речи. Впрочем, эти сокрушения — тоже расчетливый прием. Ибо как описать божественную красоту, недостижимую для смертных? «Я думаю, что, конечно, только создатель постигает ее радость вполне». Ни один поэт не бывал столь сражен своей задачей, как я сейчас, продолжает Данте. Ведь «есть свой последний предел у каждого художника». Поэтому о Беатриче «да воспоеет труба звучней моей, не такой чудесной»⁷². Ссылка на непостижимость высшей красоты — опять-таки не столько эстетический тезис, сколько способ косвенно возбудить воображение читателя.

Кроме сознания трудностей борьбы с косным, неподатливым материалом мы находим у Данте упоение творчеством: «... мастерство художника, который, им плененный, очей не отрывает от него»⁷³. Это сказано о боге, создавшем рай, но взято из опыта Данте. Так — упоенно — слушают он и грешники пение Каселлы в Чистилище. В эстетике Данте рациональный символизм противоречиво уравнивается важностью непосредственного *чувственного* очарования. Тонко рассуждая о единстве в музыке строгой соразмерности и особой чувственной силы, Данте пишет: «Музыка влечет к себе человеческие духи, являющиеся преимущественно как бы парами сердца, так что они полностью замирают; и вся душа, слыша ее, и все духовные способности словно сосредоточиваются в чувственном духе, воспринимающем звуки». Музыка подобна «небу Марса». Оно, находясь, по представлению Данте, как раз посреди других «небес», воплощает геометрическую правильность. И вместе с тем «иссушает и сжигает вещи, ибо жар его подобен огню»⁷⁴. Такова и музыка.

Данте сам играл на лютне и рисовал, дружил с крупными музыкантами и живописцами своего времени. Ощущение чувственной (и, значит, вполне земной) природы

искусства пробивается у него вопреки средневековой символической теории. Оно составляет часть сознательного преклонения перед человеческими художественными возможностями, которое позже станет одним из характерных признаков гуманизма.

Так возникает трещина в традиции. В творчестве флорентийца психологически и эстетически пробуждается личность.

О вы, которые в челне зыбучем,
Желая слушать,плыли по волнам
Вослед за кораблем моим певучим,
Поворотите к вашим берегам!
Не доверяйтесь водному простору!
Как бы, отстав, не потеряться вам!
Здесь не бывал никто по эту пору:
Минерва веет, правит Аполлон,
Медведиц — Музы указуют взору⁷⁵.

Приступая к описанию Рая, Данте обращается к читателям и подчеркивает величественную дерзость своего замысла. «Здесь не бывал никто по эту пору». Что же, в конце «Новой жизни» поэт обещал сказать о Беатриче «то, что никогда еще не говорилось ни о ком». И он это сказал. И знает это.

«Стихами моей Комедии клянусь тебе, читатель, да будут долго радовать они...»⁷⁶ Здесь, как и в наивно-горделивых заявлениях скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини, прозвучавших через два века, нет хвастовства, а есть самосознание и самоутверждение художника. Чисто возрожденческая черта, и наметилась она впервые именно у Данте. Ибо когда поэт говорит: «Прекрасный стиль, что делает мне честь», — это связано с *профессионализмом*, который чувствуется у Данте очень ясно⁷⁷.

Он посвящает трактат «О народной речи» проблемам литературного языка, поэтики, жанров, методики. Думает о путях, ведущих к мастерству. Пишет об искусстве в «Пире», рассуждает в «Комедии» об особенностях обобщенного им «сладостного стиля» или провансальской поэзии. Он толкует о преимуществах прозы перед поэзией или о непереводемости стихов на другой язык⁷⁸.

Кстати, Данте отрицает возможность полноценного поэтического перевода, потому что при этом теряется

чувственная красота стиха, фонетическая выразительность подлинника, «разрушаются вся нежность и гармония». Он словно забывает, что аллегорический и иные логические «смыслы» поэзии вполне сохраняются и в переводе и что именно они составляют, по его собственным словам, цель и суть произведения. Он мимоходом низко оценивает художественное качество библейских псалмов, полагая, что они поблекли при двойном переводе с древнееврейского на греческий, а затем на латинский. Внезапное профессиональное суждение о священном писании забавно и показательно. На мгновение смолкает католик, и говорит поэт о своем ремесле.

Эстетика Данте исподволь переступает средневековые границы. Вот Данте утверждает, что в поэзии «добродетель» важнее «красоты», ибо «добродетель» — в ходе мысли, а красота — в нарядности слов. Впрочем, не каждый читатель в состоянии уразуметь назидание. Пусть же он хотя бы почувствует красоту стиха — тут же неожиданно заключает Данте. «О люди, если вы не в состоянии понять смысл этой канцоны, все же не отвергайте ее; но обратите внимание на ее красоту, столь выдающуюся и по построению, что относится к грамматикам, и по порядку речи, что относится к риторам, и по соотношению частей, что относится к музыкантам. И кто умеет смотреть, увидит, что все это в ней прекрасно»⁷⁹.

В наши дни подобное высказывание могло бы кое-кому показаться проповедью формализма. В начале XIV в. оно, однако, сверкало свежестью и знаменовало важный прогресс в сравнении с культом «добродетели» и «смысла». Потому что средневековая эстетика требовала от искусства не просто содержания, а отвлеченно-аллегорического содержания. И когда Данте повторяет эту догму, он отдает дань прошлому. А когда он восторгается красотой формы, — тем самым искусство эмансипируется от абстрактной дидактики. Сугубо литературные достоинства, оказывается, обладают самостоятельной ценностью. Художественная красота существенна помимо всяких аллегорий. В иные времена восхвалять форму — значит протестовать против внесения в искусство чуждого ему содержания. Данте искренне принимал аллегорию, но чувственное чутье внушало ему подчас неприличные мысли.

Природа — «в смертном теле» — «пленяет взор» и «уловляет сердца». Художник состязается с ней при помощи резца или кисти. Превзойти не только античность, но и саму природу — высшая похвала в глазах Данте.

Был мрамор, изваянный так прекрасно,
Что подражать не только Поликлет,
Но и природа стала бы напрасно.

Одна песня «Чистилища» посвящена назидательной скульптуре, другая — не менее назидательным резным изображениям. Что, однако, поражает в них поэта? Барельеф, воспроизводящий церковную процессию, сделан так, что зритель готов услышать пение и почуять запах ладана. Мраморный ангел

Являлся нам в правдивости движенья
Так живо, что ни в чем не походил
На молчаливые изображенья.

А в резьбе

Казался мертвый мертв, живые живы;
Увидеть явь отчетливей нельзя...

Итак, совершенство — в подражании природе⁸⁰. «Живые живы» — лучшее, что можно сказать о произведении. Эта формула правдоподобия, доходящего до иллюзии (которая, будучи натуралистически истолкована, основательно вредила и вредит искусству), явилась в XIV в. наивной формулой *реализма*. Она опрокидывала застывшие шаблоны, рассудочность и схематизм.

Дантовская эстетика, как и политика или этика, обнаруживает неизбежную противоречивость. Ее фасад кажется старым, а за ним уже скрываются возрожденческие вкусы и оценки. Даже те, кто усматривают в идеологии Данте одни консервативные черты, признают: его поэзия обращена к новому времени. Это, может быть, единственное, на чем сходятся все пишущие о «Комедии». Но противопоставление «реакционного» мировоззрения и «прогрессивного» творчества флорентийца — несостоятельно. Они двигались в одном направлении. Верно лишь, что поэтическая практика Данте при этом опережала его рассуждения об искусстве. Как это бывает

с художниками, его вкус оказался бескомпромиссной, а воображение — смелей и подвижней, чем теоретическое мышление.

Разумеется, не религиозными умозрениями и экстазом близок нам Данте спустя семь веков. Однако не следует вычленять из «Комедии» «элементы реализма» и противопоставлять их символам и аллегориям, видя в последних едва ли не художественную слабость поэта. Все не так просто. Конечно, аллегоризм связывал Данте с прошлым, а чувственная зоркость с будущим. Но противоречивые свойства сплавлены в горниле дантовской индивидуальности. Действительность дает тепло символу, символ наделяет значительностью непосредственные картины жизни. Реализм Данте фантастичен, а мистика его правдоподобна. Реальность у него загадочна, а символ — осязаем. Достаточно одной «Божественной комедии», чтобы доказать несостоятельность схемы «реализм — антиреализм». Бюргерская культура зачала и выносила Ренессанс. Через «Комедию» проходит граница средневековой поэзии и поэзии нового времени. Ее можно прочертить умозрительно. Но к нам дошли не «стороны» или «черты» «Комедии», а — «Комедия». Бесмертие хитрей литературоведов.

Выявляя самые общие тенденции в истории искусства, мы неизбежно приходим к абстракциям «средневекового аллегоризма» или «возрожденческого реализма» — абстракциям содержательным и полезным. Не стоит лишь забывать, что в живом творчестве сталкиваются и сплетаются именно тенденции, а не окаменевшие отвлеченности. Можно ли, допустим, истолковать напряженную духовность Баха, «очистив» ее от религиозного чувства? Разумеется, в баховских «Страстях» свершается секуляризация музыки. Но как? Светскость остается еще религиозной, зато религиозность становится светской. Оба качества выступают как продолжение друг друга. То же самое у Данте. Аллегория в «Комедии» — не омертвелая оболочка. Она перестраивается и перерождается изнутри. Ибо поэтика Данте не только противоречива, но и органична. Созданное им — неповторимое тому художественное свидетельство. И если научный анализ разъемлет и классифицирует свойства дантовского метода, то наше воображение с признательным восхищением воспринимает «Комедию» в ее единстве.

**«И кто умеет смотреть, увидит,
что все это прекрасно»**

Двести лет тому назад Вольтер, смутно сознававший мощь дантовского гения, столь мало отвечавшего вкусам французского классицизма, насмешливо заметил: «Его репутация всегда будет незыблемой, ибо его почти не читают. У него есть два десятка строк, которые знают наизусть: этого достаточно, чтобы избавить себя от труда познакомиться с остальным»⁸¹.

Имя Данте у нас окружено не только почтением, но и живым интересом. Однако замечание Вольтера до сих пор сохраняет некоторую «актуальность». Каждый образованный человек прочел от начала до конца «Одиссею», «Дон Кихота» или «Гамлета». Каждый ли может сказать это о «Божественной комедии»? А ведь речь идет об одном из самых глубоких и простодушных поэтов всех времен и народов. Да! — но и об одном из самых трудных.

Данте отправился в воображаемое путешествие по трем загробным царствам с полной верой не только в их существование, но и в серьезность своих соображений о топографии ада и распределении райских блаженств. Часто невозможно понять, где проходит граница между поэтической и буквальной убежденностью, где кончается фантазия и начинается гипотеза. Современники особенно ценили бездну космогонической, физической, географической, философской и прочей учености, обнаруженной автором. Темные теоретические проблемы изложены с непринужденностью и блеском. Однако сами проблемы в наше время несколько устарели. . .

Столь же незнакомы читателю исторические и политические мотивы, без которых не было бы «Комедии». Все эти богословские сведения и споры, бесчисленные имена, события, термины, намеки, аллегории нуждаются в огромном комментарии, над которым сотни лет трудились и трудятся дантологи.

По-видимому, волновать это давно уже не может. Иному читателю скучно поминутно заглядывать в примечания. А иначе поэма малопонятна. Конечно, некоторые эпизоды впечатляют сразу, без всякой подготовки. Но охватить «Комедию» как художественное целое нельзя вне ее исторического фона и интеллектуальной

атмосферы. Чтобы оценить поэзию Данте, незачем, разумеется, штудировать целую библиотеку. Необходимо лишь представить себе в главных чертах эпоху, уже совсем далекую от нас. Необходимо ощутить ее колорит. Зато любознательный читатель, готовый освоить необычный материал и тон рассказа о загробном путешествии, — загорится восторгом!

Дантовский стих открывается медленно, очень внимательно чтению, строка за строкой. Потому что «Комедия» отличается необыкновенно сжатой энергией выражения. «Мой друг, который счастьем не был другом»: в нескольких словах — целая судьба⁸².

Увидев в «сумрачном лесу» молчаливого Вергилия,

«Спаси, — воззвал я голосом унылым, —
Будь призраком ты, будь человек живой!»
Он отвечал: *«Не человек; я был им»*⁸³.

Это сразу запоминается.

В Чистилище Стаций пытается обнять Вергилия, забыв, что оба они — лишь души мертвых. А Вергилий вновь печально роняет: «Оставь! Ты тень и видишь тень, мой брат»⁸⁴. И опять в сознание входит емкая поэтическая формула.

Замысел и пафос поэмы звучат уже в первой терцине; никаких предварительных раскачиваний; гениальный зачин сразу вводит в суть дела, как у Пушкина в «Монархе и Сальери».

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

В эпизоде с Уголино, который, не выдержав мук Башни Голода, пожирает тела сыновей, ужасная кульминация дана после искусного драматического нарастания, с величайшим художественным тактом, *в одной последней строке*. Избегая оскорбительных деталей, Данте, как всегда, открывает простор для фантазии читателя.

Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с воплями тоски;
*Но злей, чем горе, голод был недугом*⁸⁵.

И все.

Поразительная смысловая насыщенность при словесной скудости делает «Комедию» афористичной от начала до конца.

«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно». Или: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета».

Этими дантовскими стихами, как известно, предвзвены основные сочинения Карла Маркса — «К критике политической экономии» и «Капитал»⁸⁶. Они живут вне поэмы, как и сентенция Франчески:

Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастии...

Или знаменитое: «Оставьте всякую надежду, входящие сюда».

Данте поражает соединением величавости и простоты. К сожалению, это не всегда заметно в переводе.

Перевод М. Лозинского выше всяких похвал. Точность сочетается в нем со свободой. Только после художественного подвига М. Лозинского русские читатели получили представление о настоящем Данте. Очень многое находится на поэтическом уровне подлинника. Например, история Паоло и Франчески. Или рассказ Улисса.

Но М. Лозинский имел склонность к торжественности слога и любил кое-где приподнимать, чуть архаизируя, лексику оригинала. Характерно, что вместо «оставьте всякую надежду», М. Лозинский переводит: «Оставьте *упованья*». Величавость сохраняется неизменно, простота — не всегда. Это одна из немногих слабостей замечательного переводчика⁸⁷.

Надпись на вратах ада в переводе выглядит так:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколениям.

В оригинале вместо «отверженных селений» — «скорбный город» и вместо «сквозь вековечный стон» — «в вечную скорбь».

Я веду в город скорбный,
Я веду в вечную скорбь,
Я веду к погибшим душам.

Все гораздо проще и строже. Поставив в конце строки слово «скорбный», Данте замыкает следующую строку тем же словом «скорбь», вместо того чтобы подобрать синоним. Поэтому вторая строка звучит как эхо первой. В повторении слышится безысходность. Безыскусственность заключает в себе искусство⁸⁸.

Франческа в переводе М. Лозинского восклицает: «Слова и слезы расточу сполна». Великолепная находка! Но заглянув в подлинник, вы, даже с некоторым разочарованием, читаете: «Я буду говорить и плакать»⁸⁹.

Данте мог себе позволить ошеломляющую простоту, потому что он пришел первым. С него начинались итальянский литературный язык и национальная поэзия. Он — не преемник, а предшественник. Он — классик. «Достаточно брать обеими руками из сокровищницы народной речи и при помощи ее называть вещи, как Адам в Библии впервые называет первозданные феномены окружающего. И то же относится к содержанию. Никто еще не выразил ни одного живого, ни одного гибкого, ни одного сложного чувства. И когда они накопились в душе, они прорываются с живительной свежестью, необыкновенной естественностью». Это было сказано Луначарским о Пушкине⁹⁰. Это можно сказать и о Данте.

Уже в середине «Новой жизни» дают о себе знать библейская сила и библейская наивность.

Потом мне привиделось, что постепенно
Затмилось солнце и показалась звезда,
И заплакали оба.
Падали птицы на лету,
И земля задрожала.
И появился бледный и поникший человек,
Говоря мне: «Что делаешь? Или не слышал?
Умерла твоя донна, которая была так прекрасна»⁹¹.

Данте довольно редко прибегает к метафоре: «Я изогнут, как мост, под гнетом размышлений»; «дальний звон, подобный плачу над умершим днем»; «там, где молчит солнце». В наше время трудно удивить кого-либо смелостью поэтического выражения. Однако дантовская метафоричность сберегла остроту и для современного слуха: «глаза, косые от тоски»; души, «которых так терзает воздух черный»; «одна душа из глубины черепа в меня впиалась глазами»⁹².

Данте стремится к эффекту достоверности. Поэтому обычно он предпочитает придавать метафоре буквальный смысл и разворачивать ее в прямое описание. Здесь его фантазия не знает предела⁹³.

В седьмом круге Ада флорентийский поэт слышит громкие стоны, исходящие из безлюдной чащи.

Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!»
В надломе кровью потемнел росток...

Оказывается, перед Данте толпа грешников, обращенная в лес.

Так раненое древо источало
Слова и кровь...

И Данте беседует с «тоскующим стволом», и сгребает к терну — по его просьбе — опавшие листья...

В Аду мы видим «алый кипяток» (кровь, в которой варятся тираны) и слезы, превратившиеся в ледяную коросту; мы созерцаем грешников с головами, повернутыми к спине, так что их слезы «меж ягодиц струятся бороздой»; и наблюдаем во всех анатомических подробностях, как змея превращается в человека, а человек — в змею, «меняясь естеством».

Но дело не в количестве чудес, не в изобретательности и разнообразии вымыслов. В «Комедии» сотни персонажей и сцен, непрерывно меняются декорации и характер действия. Здесь все виды зловония и все возможные благоухания; вся густота мрака и все переливы света; мертвая тишина и оглушительные вопли; молитвенная торжественность и варварский юмор, с непристойными гримасами и остротами чертей, с неприличными звуками, — поистине раблезианский разгул.

И все дано совершенно осязаемо! В этой «вещности» и состоит самая важная особенность дантовской фантазии.

Ведь поражает не то, что в Аду Вергилию и Данте встречается Бертран де Борн, несущий в руках собственную голову⁹⁴. Безголовое тело шагает вместе с другими, в обычной толпе грешников. Бертран держит голову за волосы, как держат фонарь, и, направляя ее, высматривает

дорогу. А заговаривая с Данте, Бертран, стоящий внизу, под мостом, вытягивает повыше руку с головой, чтобы Данте *было слышней*. Вот это действительно поразительно! — материальность и конкретность, придающие мистическому повествованию полнейшую отчетливость.

Уголино, бешено грызущий голову Руджьери, оторвавшись, чтобы поговорить с Данте, вытирает окровавленный рот о волосы своего врага. . . Ангел, появившийся в Аду, отгоняет от себя смрад частыми помахиваниями левой руки. . . Тени мертвых, ангелы или бесы в любой потусторонней ситуации непринужденно совершают те самые обыденные поступки и привычные действия, которые совершали бы люди.

Основываясь на указаниях поэмы, комментаторы «Комедии» начертали схемы и адской воронки, и конуса Чистилища, высчитали длину кругов, высоту подъемов и спусков, глубину рвов, направление маршрута, захронометрировали каждый этап дантовских скитаний, начиная с лунной ночи на 8 апреля 1300 г., когда флорентиец встретился с Вергилием. . . Ибо воображение Данте деловито и не терпит расплывчатости — идет ли речь о путешествии по мохнатому телу сатаны или о метеорологических условиях Земного Рая.

Художественные приемы Данте часто сравнивали с графикой. В самом деле, хотя Данте мастерски пользуется цветом — линия для него обычно важнее, рисунок преобладает над колоритом. Но это — объемная и движущаяся графика. Может быть, лучше говорить о «кинематографичности» Данте. Для современного восприятия именно так выглядит способность Данте отбирать немногие «кадры» и, чередуя широкие «планы» с укрупненными деталями, сливать их в целостную картину движения.

Вот один из эпизодов «Чистилища», встреча с Белаквой⁹⁵. Данте и Вергилий видят огромную скалу. Подходят ближе. Группа людей лениво расположилась в тени под скалой.

Один сидел как бы совсем без сил:
Руками он обвил свои колени
И голову меж ними уронил.
И я сказал при виде этой тени:
«Мой милый господин, он так ленив,
Как могут быть родные братья лени».

Он обернулся и, глаза скосив,
Поверх бедра взглянул на нас устало;
Потом сказал: «Лезь, если так ретив».

Этот ленивый Белаква, глядящий *поверх бедра*, показан так, что совершенно ясны расстояние, точка и угол зрительного восприятия.

Конечно, «кинематографическое» толкование — лишь условный прием. Как, впрочем, и сравнение с графикой. Никто, разумеется, не собирается отождествлять перо поэта с резцом гравера или кинообъективом. Незачем, тем более, модернизировать «Комедию» и приписывать XIV в. свойства художественного мышления XX в. Но сопоставление с кино — естественное сегодня — помогает уяснить особенности осязательной фантазии Данте, его великолепное умение создавать динамичные зрительные образы из прерывистых впечатлений, при помощи «монтажа» мгновенных зарисовок.

Бертран, поднимающий руку с головой, или Белаква, взглядывающий на Данте, не меняя позы, — изображены не статично, а через жест, причем мы видим их фигуры в совершенно точном *ракурсе*.

Вот поэты, крепко держась друг за друга, стоят в ладнях великана Аптея, спускающего их в адское жерло. И Данте кажется, что громада наклонившегося Антея рухнет на них: так, если стоять около Гаризенды, высокой башни в Болонье, и смотреть, как облако проплывает над нею, — кажется, будто башня падает навстречу.

Но Антей опустил поэтов в бездну —

...и, разогнувшись, встал,
Взнесясь подобно мачте корабельной⁹⁶.

Другой пример — встреча со стражем Чистилища Катонном.

Мой вождь, впимая величавой тени,
И голосом, и взглядом, и рукой
Мне преклонил и веки, и колени⁹⁷.

Жест, взгляд, реплика Вергилия обозначены синхронно. Это не описание, а действенное обозначение.

Данте искусно пользуется формой рассказа от первого лица. «Комедия» — свидетельство очевидца о пережитом. Личный, субъективно-пристрастный подход — не только

знак нового мироощущения, но и художественный принцип поэмы: реакция Данте на все увиденное и услышанное скрепляет пестрый потусторонний калейдоскоп, цементирует композицию, превращает эпос в лирику и в роман, обеспечивает непосредственность читательского впечатления. В отличие от Мильтона или Гете, «тот свет» подан через обычное человеческое восприятие.

Новые пытки и новых пытаемых
Я вижу вокруг, куда ни пойду,
Куда ни повернусь, куда ни посмотрю⁹⁸.

Недаром женщины на улицах Вероны, оглядывая смуглое лицо и черные курчавые волосы поэта, шептались, что на нем отблеск адского пламени.

Иногда Данте прибегает к простому описанию от своего имени. Иногда сообщает, что он сделал, сказал или ощутил по поводу представшей перед ним сцены. За знаменем «бежало такое множество людей, что я никогда не подумал бы, что смерть унесла столь многих»⁹⁹. Это мысль, промелькнувшая в голове у наблюдателя. И читатель сам легко оказывается в позиции наблюдателя. Описывая грешников, вмерзших в озеро Коцит, Данте мимоходом замечает: «...и доныне страх у меня к замерзшему пруду»¹⁰⁰. Излюбленный прием Данте — сопоставление химеры с чем-нибудь обыкновенным — подкреплен доверительным признанием. Любой замерзший пруд до сих пор вызывает у поэта ассоциации с чудовищным зрелищем, потрясшим когда-то; психологическая деталь своей достоверностью делает достоверным и озеро Коцит.

В Земном Раю Данте размышляет о первородном грехе. «Скорбно и сурово я дерзновенье Евы осуждал». Еще бы! — ведь из-за того, что Ева нарушила божий запрет, человечество лишилось рая; причина скорбного дантовского осуждения, очевидно, заранее ясна. Но мы читаем: не помешай грехопадение,

Была бы радость несказанных сеней
И раньше мной, и дольше вкушена¹⁰¹.

Т. е. «если бы она (Ева) была послушна», тогда он, Данте Алигьери, родился бы и жил в раю!

Это «мной» — изумительно.

Посреди адского скрежета, стонов Чистилища и райских хоров — один человек, автор и герой «Комедии». Он — в центре, и все располагается по окружности. То, что совершается в душе гениального путника, связывает воедино картину мира. Политика и религия, наука и мораль обретают смысл, проходя сквозь эту душу. История начинает вращаться вокруг индивидуума. Микрокосм личности вмещает в себя макрокосм. Мир очеловечивается.

Этот благословенный интерес к страстям и судьбам человеческим помогает нам сегодня понимать и любить старого поэта.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Художественно - психологическая противоречивость Данте, как она ни показательна и ни любопытна сама по себе, является лишь выражением гораздо более глубокой раздвоенности его сознания. Ведь Данте не только поэт. Он еще политический идеолог, он — социолог, и социолог незаурядный. В этом плане творчество Данте представляет исключительный интерес.

Мировоззрение Данте не может быть связано целиком и полностью с каким-нибудь одним определенным классом.

Но в этом и заключается своеобразие переходной эпохи. Как в области экономической, так и в области политической еще нет четких линий и размежеваний; конфликты то бурлят где-то в глубине, то прорываются на поверхность; все в движении, становлении, борьбе; многое еще не понятно, не определилось, не откристаллизовалось. То же самое и в области идеологической, только гораздо сложнее и опосредствованней. В такую эпоху личность стоит на распутье. Борьба старой и новой идеологии на первых порах проявляется в раздвоении сознания наиболее чутких и талантливых людей эпохи. И чем сильнее преобразуется социальное бытие, тем заметней становится эта трагическая раздвоенность.

Своеобразие и сложность идеологии Данте в том, что она имеет как бы несколько плоскостей, несколько планов.

Данте отразил многие глубочайшие потребности нарождающейся буржуазии, пополюнских верхов. Причем он нередко опережал эти потребности и, улавливая их

в потенции, в направленности к будущему, улавливая их общий и глубокий смысл, вступал в противоречие с частными интересами своих современников — «жирных» горожан. Например, идея политического объединения страны отвечала общеклассовым интересам итальянской буржуазии, но не соответствовала ограниченному сепаратизму ее отдельных групп. Дело, конечно, в том, что буржуазия тогда еще отнюдь не оформилась в национальный класс. А. В. Луначарский очень тонко заметил, что Данте — человек, «который тем более велик, что на заре появления буржуазии выразил не отдельные ее желания, а ее историческую роль, до которой менее крупные люди не могли еще додуматься»¹.

С другой стороны, Данте, объективно отражая потребности ранней буржуазии, вовсе не являлся просто-напросто буржуазным идеологом. Он никак не вмещается в такое узкое определение. Данте не только, подобно титанам Возрождения, был чужд буржуазной ограниченности, но и ненавидел жестокий и низкий торгашеский дух нарождающегося капитализма. В этом плане Данте оказывается стихийным выразителем настроений широких народных масс, пополанских пизов Флоренции. Здесь мы находим конкретные истоки народности Данте. Отсюда исходит и пылкие его мечты о возвращении блаженных патриархальных времен Каччагвиды.

Казалось бы, оба плана непримиримы. И все же они лежат в одной исторической плоскости. Скрывается ли за терцинами Данте пополанская верхушка или, как раз наоборот, пополанская масса, — как бы там ни было, он, во всяком случае, — пополан, дитя городской итальянской коммуны начала XIV в.

Назовем это третьим планом идеологии Данте, планом наиболее широким, определяющим, который вбирает в себя первые два плана, как бы покрывает их. Основная линия классовой борьбы проходила в ту эпоху не внутри пополанского лагеря, а между ним и феодалами. В прекращении феодальных усобиц и чужеземных инашествий, в полном разгроме грандов, в уничтожении светской власти папства, в умиротворении и объединении страны были заинтересованы все пополанцы. В этом плане Данте выступает как выразитель интересов не какой-нибудь части городского населения, а итальянских коммун вообще. А поскольку коммуны были наиболее здоровым

и прогрессивным элементом итальянского общества, их интересы совпадали с интересами развития общества в целом.

Все это так. Но поэта связывало с будущим не все и не до конца. Мы видели уже, что, с одной стороны, тяга Данте к прошлому имеет корни в настроениях народных масс. Существует и принципиально иная сторона этой тяги, понять которую можно лишь в плане связей Данте с дворянскими верхами Флоренции.

Богатая флорентийская буржуазия жадно впитывала изысканность феодального быта, принесенного в город нобиями, охотно роднилась со знатью и приобретала куртуазный лоск. Страх перед низами заставлял «жирных» горожан то и дело забывать вражду с дворянами, идя на очередной компромисс с ними. А феодальная знать вносила свой пай в капитал компаний и записывалась в старшие цехи. Среди флорентийских банкиров, купцов и промышленников было немало членов знатных фамилий. Шел процесс сращивания феодальной и пополанской верхушки. В этой обстановке проходила юность Данте, в кругу «золотой» флорентийской молодежи из влиятельных пополанских и дворянских семей. В ту пору среди друзей Данте мы видим блистательных поэтов «сладостного стиля»: родовитого Гвидо Кавальканти и Дино Фрескобальди, сына известного банкира и гранда. Знакомства среди знати оказались полезны Данте в изгнании, когда ему довелось скитаться по дворянским замкам. Все это не могло не сказаться так или иначе в противоречиях дантовской идеологии. Он гордится своим поэтическим даром, но также — своими предками. Он выступает против феодальной анархии, но сожалеет о вымирании феодальных родов. Он громит тиранов, но делает исключение для тех, у чьих дворов ему пришлось искать приюта. Если во всех основных и решающих моментах идеология Данте обнаруживает демократическое, пополанское происхождение, то кое-какие ее частности напоминают об аристократических притязаниях поэта.

Наши попытки рассматривать взгляды Данте под разными углами зрения, в разных плоскостях и планах, потеряли бы всякий смысл, если бы в классификаторском усердии мы забыли, что все плоскости и планы пересекаются, переплетаются друг с другом, вырастают один из другого и, не совпадая, образуют все же нечто единое —

неповторимую фигуру гениального флорентийца. На эту фигуру наложили отпечаток почти все слои итальянского общества. Корни идеологии Данте приходится искать то в интересах городских коммун, то в потребностях зарождающейся буржуазии, то в настроениях пополюнской массы, а то и в предрассудках дворянской знати. Тем и интересно творчество Данте, что в его стихах и трактатах запечатлелась вся бурная и многообразная жизнь переходной эпохи. С другой стороны, мало установить противоречивость и многозначность идеологии Данте. Нужно еще отыскать в ней решающий пункт, который позволил бы определить место Данте в социально-политической борьбе его времени.

Ничуть не упрощая идеологии Данте, мы имеем право заявить, что Данте прежде всего — идеолог городской коммуны. Он первым с огромной силой выразил интересы развития «первой капиталистической нации».

И это в нем — главное.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДАНТЕ И ДАНТОЛОГИЯ

Изучение творчества Данте чрезвычайно важно для истории мировой культуры. Известно замечание Энгельса о том, что колоссальная фигура флорентийца знаменует собой целую переходную эпоху. Недаром Маркс, знавший «Комедию» в подлиннике наизусть, собирался написать о Данте специальную работу.

В течение шести с половиной веков вокруг наследия Данте идет напряженная идейная борьба. Иезуит Ару требовал еще в прошлом столетии публичного сожжения произведений Данте, объявив его «еретиком, революционером и социалистом». Но Ватикан предпочитал и предпочитает изображать мятежного поэта безобидным католиком¹. Папа Бенедикт XV в дни дантовского юбилея в 1921 г. торжественно провозгласил: «Данте Алигьери — наш». «Комедия» не попала в «Индекс»: приходилось считаться с тем, что Данте с XIV в. стал гордостью страны. В Италии его называли просто «Поэтом», а «Комедию» — просто «Книгой», и стихи его распевали неграмотные крестьяне. Данте вдохновлял итальянских революционеров XIX в., начиная с Уго Фосколо и Сильвио Пеллико, оценивших по достоинству его свободолюбие и призывы к объединению страны. Итальянские фашисты пытались использовать Данте на свой лад. Никогда истолкование Данте не ограничивалось громадным культурно-познавательным, историческим и эстетическим значением. По сей день — это также политическая проблема.

О Данте написаны тысячи книг². Наука скрупулезно исследовала и прокомментировала буквально каждую его строку, накопив горы добротного фактического материала и добившись замечательных текстологических успехов. В трудах многочисленных «дантовских» обществ, в специальных дантологических журналах

и сборниках были рассмотрены вдоль и поперек все события, имена, даты, имеющие хоть какое-нибудь отношение к жизни и творчеству поэта. Был всесторонне обсужден каждый политический или личный намек в «Комедии» и была тщательно зарегистрирована каждая ссылка или реминисценция в «Пире». Существуют десятки особых исследований на темы: Данте и астрономия, Данте и музыка, Данте и география и т. д. Существуют работы, в которых выясняется, знал ли Данте греческий язык и бывал ли, скажем, Данте когда-нибудь в небольших итальянских городах Удине или Персичето. Есть обширная литература даже о Джемме Донати, жене поэта, с которой он навсегда расстался за двадцать лет до своей кончины, ни разу не обмолвившись о ней в стихах, и о которой почти ничего не известно. А работам о Беатриче, уж разумеется, — несть числа. Несколько поколений серьезных исследователей создали надежную биографию Данте. Появились словари дантовского языка. В двухтомной «Дантовской энциклопедии», принадлежащей перу Скартаццини, можно найти любую справку — вплоть до того, что, например, слово «расе» («мир») встречается в «Комедии» 36 раз³.

Но объективное историческое содержание дантовского понятия «мир» осталось у Скартаццини нераскрытым. И это не случайно. Буржуазная дантология, несмотря на все свои успехи, оказалась все же не в силах подлинно глубоко и точно оценить значение и сущность идеологии Данте.

Социологический анализ был лишен неоспоримости филологических и художественных наблюдений. И вовсе не потому, что общеисторическим фоном творчества Данте мало занимались. Напротив. Эпоха Данте заинтересовала уже эрудитов XVIII в. во главе с Муратори. Интерес к Данте в XIX в. подогревался сначала движением карбонариев, а затем движением Рисорджименто и был, как уже отмечалось, тесно связан с политикой. Уго Фосколо, зачинатель новой дантологии, говоря словами Маццини, «искал в Данте не только поэта, но гражданина, реформатора, апостола религии, пророка нации». После объединения Италии историки-позитивисты, вдохновляясь национально-демократическими идеями, соперничают в изучении наследия Данте с литературоведами. Исследователи школы Паскуале Виллари проделали огромную работу. Но политические идеи флорентийского изгнанника почти никогда не рассматривались как объективно-классовые идеи. Конкретные социальные корни теорий Данте или оставались вне поля зрения, или освещались узко и поверхностно.

В западной исторической литературе часто говорилось, что политические взгляды Данте лишены реальной почвы, будучи

плодом пылкой поэтической фантазии и увлеченности мечтателя. Один автор доказывал, что Данте «жил только прошлым», «одинокий, как все пророки», погруженный в мистические видения. И называл дантовскую монархию «утопией всех средних веков» об универсальном единстве⁴. Другой исследователь усматривал в антикапиталистических высказываниях поэта абстрактно-моральные побуждения. И писал о Данте: «он был плохим политиком, потому что был политиком сердца, привлекая теоретические спекуляции для обоснования своих чувств»⁵. Третий, напоминая, что политические надежды Данте оказались «тщетными иллюзиями», утверждал, что Данте — «прежде всего поэт», погруженный в свои сны⁶. Четвертый историк считал обращение Данте к «умирающей империи» результатом скорбных превратностей его судьбы, порождением отчаяния, охватившего поэта в изгнании⁷. И т. д. и т. п.

Все это избавляет от необходимости ответить на вопрос, почему теории Данте остались «тщетными иллюзиями», какие свойства самой исторической действительности породили его надежды и одновременно обусловили их призрачность.

Иную позицию занял Ф. Эрколе. Он рассматривал взгляды Данте на широком фоне развития итальянской политической мысли. И уже простое сопоставление дантовской «всемирной монархии» со взглядами его предшественников, современников и потомков делало очевидным, что теория Данте является составным звеном в длинной цепи сходных идеологических построений — от Джованни да Витербо до Альбертино Муссато, от Чино да Пистойя до Кола ди Риенцо. Но Эрколе не выходил из круга истории идей как таковых. Приближаясь к единственно правильному тезису о глубокой исторической оправданности возникновения утопии Данте, Эрколе ограничивался, однако, следующим доводом: «Его (Данте. — Л. Б.) политический идеал не был грезой, ибо опирался на нечто реально и постоянно существовавшее в общественном праве и в итальянском политическом сознании — на понятие империи»⁸.

Историческая реальность, таким образом, сводилась к «юридическим традициям болонской школы».

И работа Эрколе демонстрировала те недостатки, которые в большей или меньшей степени характерны даже для самых блестящих исследований западных дантологов об идеологии Данте, — для классических трудов П. дель Лунго, П. Виллари, П. Цингарелли, А. Сольми, М. Барби и др.⁹ В этих исследованиях рассматривано много значительных выводов относительно светского духа теорий Данте, национального характера его утопии, связей Данте

с пополапской демократией и т. д. Но ценные наблюдения затемнились отсутствием последовательного историзма.

Либеральные историки-позитивисты, а позднее филологи во главе с талантливым Микеле Барби, не сумели вывести политическое учение Данте из особенностей его эпохи, модернизируя и сближая афоризмы «Монархии» с идеями XIX в.

Например, Паскуале Виллари, верно уловив в утопии Данте национальное содержание, не в состоянии был объяснить, почему стремление к объединению Италии облечено у Данте в форму теории *всемирной* монархии. Виллари или ссылается на то, что Данте «не понимал» всей важности «национального принципа», или «оправдывает» поэта тем, что в его духе возобладал благородный «принцип интернационализма», который был присущ «борцам за итальянскую свободу» вплоть до Маццини...¹⁰

Не может ответить на это и Барби. В работе, являющейся своего рода итогом многолетних исследований маститого дантолога, мы находим великолепное изложение взглядов поэта, но в ней нет анализа их конкретно-исторической основы. Нас не могут удовлетворить общие соображения о тесной связи Данте с итальянской действительностью. «Поэт, конечно, судил обо всем, исходя из потрясений и распрей, охвативших его Флоренцию и Италию», — справедливо замечает Барби. Но это весьма иллюзорный и расплывчатый историзм. У Барби нет и речи о социальной обусловленности творчества Данте. Трагизм «Божественной комедии» истолковывается биографически «узким и отчасти неверным взглядом» человека, разделившего судьбу «несчастных изгнанников из отечества». А рассуждения Барби о реалистичности дантовской теории всемирной монархии, порожденной плачевным положением раздробленной Италии, заканчиваются выводом, позволяющим уже угадать влияние Бенедетто Кроче (о котором будет сказано дальше): «Как бы там ни было, для нас важно не оценить политическое здравомыслие Данте, а узнать, что более всего согревало его чувства и воспламеняло его фантазию. Если это и была утопия, то, конечно, благородная утопия, и он обнаружил в ней не меньшую любовь к Италии, к ее благу и славе, чем его более практичные современники...»¹¹

Между тем несомненно, что работы Барби, Эрколе, Виллари и других в методологическом отношении представляют собой толчок буржуазной дантологии. В современных исследованиях политической мысли Данте воспроизводятся недостатки этих работ — обычно, к сожалению, без их больших достоинств.

Показателен труд М. Аполлонно, поражающий размерами, эрудицией и полным отказом от какой-либо научной методологии.

По удачному выражению А. Валлоне, «мы присутствуем при распаде исторической критики». Из тысячи трехсот семидесяти страниц книги Аполлопио мы узнаем, что «все политические страсти и мысли поэта — плод его фантазии, неузнаваемо преобразующей реальную действительность»¹².

Более других заслуживает положительной оценки исследование Чарльза Девиса «Данте и идея Рима»¹³. Оно посвящено, как подчеркивает сам автор, сопоставлению политической концепции Данте с высказываниями его предшественников (начиная с Августина) и современников, а также с официальной пропагандой Генриха VII. При этом Девис делает много свежих и интересных выводов, расширяя наши представления об идейной атмосфере, окружавшей поэта. Девис обрисовывает Данте как «независимого мыслителя, руководствовавшегося своим итальянским патриотизмом и универсалистскими убеждениями». Однако какова почва этих убеждений? Неужели — юридическая условность, некое «постоянное средневековое уважение к имперскому принципу», на которое ссылается Девис вслед за Эрколе и Вольпе? Сам замысел работы обрекает автора на неудачу всякий раз, когда он пытается от описания идеологических фактов перейти к их объяснению. По его мнению, между «национализмом» и «универсализмом» Данте не было противоречия. Да — субъективно! Но объективно это противоречие существовало и, более того, являлось исторически неизбежным. Формальный метод исследования приводит Девиса к выводу, будто Данте не имел в виду политического единства Италии. «Парадоксально для нас, — пишет Девис, — но естественно для Данте, универсализм Рима служит основой национальной гордости поэта». Подлинный и вполне объяснимый парадокс заключается, однако, в том, что, наоборот, национальная гордость Данте стала основой его «универсализма».

Следует высоко оценить и прекрасные работы Бруно Нарди о мировоззрении Данте¹⁴. Данте в изображении Нарди — оригинальный мыслитель, испытавший воздействие аверронизма и иоахимизма, сумевший во многих отношениях нанести удар по средневековому католицизму. Все же анализ Нарди зачастую не достигает цели, так как, стараясь вывести одни мысли и устремления Данте из других его мыслей и устремлений или из идей его современников и предшественников, Нарди возвращается в уже знакомом нам замкнутом кругу: идейное явление считается *объясненным*, если оно описано, т. е. если дана его логическая схема и прослежены аналогии, прецеденты и влияния в рамках данной теоретической или художественной области. Философские,

этические или политические понятия берутся вне социальной почвы, их движение выглядит самодовлеющим. Исследование филиации идей создает «видимость самостоятельной истории... идеологических представлений», «мы все время продолжаем оставаться в сфере чистой мысли»¹⁵. Поэтому Бруно Нарди не избегает общих мест, ставших почти обязательными в западной дантологии: Данте исходил из «вечного идеала справедливости», существующего «вне пространства и времени», «иллюзия Данте заключается в том, что он усматривал в более или менее близком будущем вечную идею, которая сама по себе находится вне времени и воздействует на человеческие дела лишь в качестве предела, всегда желанного... но никогда не достижимого».

Идеалистический подход к истории культуры омрачает также интересное исследование П. Ренуччи, дающее новый материал, но проникнутое ложным пониманием гуманизма как отвлеченного интеллектуального движения, начавшегося уже в XII в.¹⁶

Даже наиболее проникательные современные дантологи, будучи далеки от марксизма, не учитывают, что «идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом»¹⁷. Поэтому Б. Нарди, Ч. Девис и другие не понимают, что утопия Данте есть идеологическое отражение «истинных побудительных сил».

Например, Пассерин д'Энтрев подчеркивает «муниципализм» Данте, но приходит к заключению, будто Данте боролся против идеи национального государства¹⁸. Это — шаг назад в дантологии. Думается, что в полемике вокруг дантовской политической теории суждения Эрколе, Сольми, Барби были гораздо ближе к истине, чем недавние возражения против них Девиса или д'Энтрева. Д'Энтрев и Девис не видят, что в своеобразных условиях Италии утопия всемирной империи явилась результатом того же процесса, который привел в других странах к прямому обоснованию национальной монархии. Д'Энтрев, правда, указывает, что идея империи родилась прежде всего из исторической обстановки, а не из политической литературы. Но это остается декларацией. Автор обнаруживает у Данте «универсальные христианские идеи средневековья», идеи «мира» и «единства». А «историческая обстановка» сводится к распространению римского права и к личным впечатлениям поэта от Рима.

Недостаток историзма вводит в соблазн наивной модернизации. По словам д'Энтрева, Данте пришел к мысли, «что одного патриотизма недостаточно», «и сошелся в этом с нашим време-

нем». Дж. де Фео и Дж. Саварезе также считают, что учение Данте поразительно актуально в свете современного «кризиса национализма»¹⁹. Дороти Сайерс полагает, что было бы «интересно» сравнить идеи Данте «с предложениями относительно мирового правительства, возникшими под угрозой атомной бомбы»²⁰. Теофил Шпери готов видеть в Данте пророка, указавшего язвы, разъедающие Европу XX в., и давшего рецепт их излечения — «единение в боге»²¹. У Нэнси Ленкейт особая концепция: по ее мнению, Данте вдохновлялся «расовым чувством», всегда существовавшим националистическим представлением о превосходстве итальянцев над другими нациями²². Не менее своеобразные выводы можно найти в одной из последних работ известного исследователя Ольнки²³. В главе, носящей название «Актуальность Данте», автор пишет: поэма Данте «показывает нам, что положение вещей с тех времен и по нынешний день существенно не изменилось. Отвергнутое поэтом преобладание „экономического человека“ над „духовным человеком“ упрочилось, как никогда, в современных формах алчности». «Как и Данте, мы чувствуем, что это не политическая, а прежде всего моральная проблема». (Но уже Данте догадывался в «Монархии»: «...при плохих правителях и люди бывают плохими»). Папство, продолжает Ольнки, «теперь сильнее, влиятельней и свободней, чем когда бы то ни было»(?). Стремления к мировой империи, церковной или светской, и сейчас сильны. И «суровый опыт всех народов» показывает, что если «империя должна и может существовать, то она может и должна быть единственной». Вот чем увенчивают нынче свои труды некоторые ученейшие дантологи!

В современной дантологии очень заметно католическое направление, на все лады развивающее тезис, сформулированный век тому назад Гиллебрантом: «...никогда не было более ортодоксального христианина, чем Данте». Особенно тягостное впечатление производит откровенно обскурантистская книжка Папини, достойно завершающаяся главой: «Где теперь Данте?» В раю или в чистилище? И в каком именно круге? Что он сам сейчас думает о «Комедии»? Сам Папини полагает, что понять ее дано только «католику, художнику и флорентийцу» (!)²⁴

Французский богослов Мандонне в книге «Данте-теолог» свел содержание «Комедии» к набору религиозных символов. Эту затею подверг язвительному осмеянию не кто иной, как Э. Жильсон, крупный католический философ²⁵. Но попытки мистических истолкований идеологии Данте не прекращаются²⁶.

Упомянем монографию А. Реноде «Данте как гуманист»²⁷. Для Реноде гуманизм — вечный и неизменный этический принцип, нашедший высшее и абсолютное выражение в «христианском

гуманизме». Ряд гуманистов открывается святым Юстином (II в.), Августином и другими отцами церкви, а далее бок о бок стоят изувер Бернард Клервосский и «его великий противник» Абеляр, Фома Аквинский и «его продолжатель» Данте, «синтезировавший христианский и античный гуманизм», Петрарка и Томас Мор, Гете... По мнению Реподе, Данте воплощает прекрасный дух средневекового католицизма, он «аристократ и консерватор», который, отдав в первых двух частях «Комедии» дань политическим предрассудкам, партийной ненависти и прочему «флорентийскому злопамятству», отрывается, наконец, в песнях «Рая» от земли и от политики и «устремляется в чистую духовность». «Отдельное государство, отдельная нация не задерживают надолго его внимания. Его мысль обнимает вселенную». В «Пире» Данте воспекает пекую «элику разума», «единственно способную и достойную руководить человеческими толпами», и т. д. и т. п. Таков уровень книги, которая, по рекомендации Валлоне, «является сегодня — и не только во Франции — наиболее органическим трудом на эту тему». В ней действительно «органически» искажено мировоззрение великого поэта.

Однако все же не католицизм определяет современное развитие дантологии. Нужно подчеркнуть, что в обильном потоке дантологических исследований последних лет число работ, посвященных мировоззрению и особенно политическим взглядам Данте, сравнительно невелико. Еще в 1921 г. знаменитый философ-идеалист Бенедетто Кроче потребовал отказаться вообще от анализа идеологии Данте. Книга Кроче «Поэзия Данте» выдержала множество переизданий и имела необыкновенный успех²⁸. В последующие тридцать лет в итальянской дантологии решительно возобладало крочеапское направление, представленное такими крупными именами, как Момильяно или Фубини. «Эрудитская» (историко-филологическая) школа стала сдавать свои позиции. Прославленный глава этой школы Микеле Барби сам испытал заметное влияние крочеанства.

«Поэзия Данте» — яркая книга, написанная убежденно и просто. Ход мысли Кроче таков. Данте прежде всего — поэт, до сих пор затрагивающий сердца. Для читателя, раскрывающего сегодня «Комедию», в поэзии Данте важна поэзия, а не религиозные, этические или политические идеи. Эти *идеи* давно мертвы. Зато дантовские *образы* живут. Кроче язвительно отзывался о «принявшем угрожающие размеры» историческом и филологическом изучении Данте. Он высмеивает «охоту за аллегориями», споры о пустяках, всевозможные переуточнения, раздувание мелочей, утомительную эрудицию и слащавую восторженность.

Разве слово «дантолог» не стало синонимом «дантомана»? Комментарии, конечно, нужны, но они не должны мешать главному — интимному постижению «с глаза на глаз» художественного богатства «Комедии». Обозначая идеологическое содержание «Комедии» как ее «структуру», Кроче утверждает, что изучение «структуры» нельзя смешивать с эстетическим анализом. Если идея выражена вне образа, она находится за пределами искусства. Если идея выражена через образ, ее нельзя абстрагировать, не разрушив смысла художественного целого. Поэтому религиозные и политические взгляды Данте интересны лишь в одном отношении, как толчок для воображения, для «лирической интуиции». Их историческая и собственно логическая сторона безразлична для эстетики. Классовая борьба, торговля, войны, церковь, империя, философские доктрины, общественная деятельность Данте — «все это не имеет прямой связи с поэзией Данте». Противопоставляя, по существу, неувядаемую прелесть дантовской поэзии и ее конкретно-историческую «структуру», Кроче, однако, настаивает на их «единстве» и слиянности. Основой такого единства является именно «поэзия». Словом, Кроче требует рассматривать последние Данте, в том числе и его идеологию, исключительно с «эстетической» стороны. Как провозгласил в 1924 г. крочеанец Бертони, важна не истина, а красота: «... не то, что поет поэт, а как он поет — вот интересное в нем»²⁹.

Разумеется, если бы Данте написал только «Монархию» и «Пир», не было бы целой отрасли пауки, посвященной его наследию. Мы пристально вчитываемся в каждую строку дантовских трактатов особенно потому, что они принадлежат автору «Комедии». Иначе говоря, исследование мировоззрения Данте существенно не только для истории Италии, но и для истории мировой литературы. Без такого исследования нам не понять огромного художественного явления, называемого Данте Алигьери. Это как раз и отрицает Кроче.

Кроче прав в том смысле, что современный читатель в силах со всей непосредственностью ощутить обаяние Фрапчески, отвагу Улисса, страдающего Уголипо, не обращаясь за помощью к историкам. Можно волноваться, читая о том, «как горестен устам чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням», не зная существа политических событий, определивших судьбу поэта. Что, однако, произойдет, если читатель за словами о «язве, нанесимой луком изгнания», и о необходимости «самому составлять свою партию» увидит не только «горечь» вообще и «гордость» вообще, но и реальную фигуру Данте с реальными причинами горечи и гордости? Что произойдет при конкретно-историческом «наполнении» этих чувств и образов? Эстетическое

впечатление ничего не потеряет в своей непосредственности, зато выиграет в глубине и осмысленности.

Более того, нельзя по-настоящему проникнуться даптовским пафосом и трагизмом, понять мессианские предчувствия, саркастические инвективы, беседу с Каччагвидой или порыв Улисса, не зная эпохи и мировоззрения поэта. Данте не был бы художником такого масштаба, если бы его творчество не вобрало целый исторический пласт. Именно в широчайшей связи со своим веком — секрет значимости Данте для последующих веков.

Перефразируя ленинское замечание о Толстом, можно сказать, что эпоха перехода от Средневековья к Возрождению в Италии, самой передовой стране тогдашней Европы, выступила, благодаря гениальному освещению Данте, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

Исследователь-литературовед во всяком случае обязан с этим считаться. Иначе эстетический анализ сведется к каталогизированию неких «вечных» художественных красот. Кроче и его последователи так и поступают. Но странно думать, что стиль Данте, экспрессия стиха, композиция, особенности образного «видения», движение эмоций не находились в тонкой связи с тем, что Данте думал о людях, о боге, о Флоренции. Странно пытаться разгадать Данте-художника, отвернувшись от Данте-мыслителя или Данте-политика. Как будто есть несколько Данте, а не один.

Кроче отмечает многое в «Комедии» на том основании, что «структура» иногда прорывает у Данте образную ткань. Идея растворяется в ситуации, в эмоции, в чувственной картине. Действительно, в «Комедии» встречается и публицистика, и толкование всевозможных физических, астрономических, географических, теологических и других проблем. Сюда вмещена вся средневековая ученость, словно мы читаем христианского Лукреция Кара. Вырвать все это из «Комедии» так же невозможно, как невозможно выбросить из «Войны п мира» философию истории, из «Анны Карениной» — раздумья о нравственном совершенстве, из «Воскресенья» — социальные разоблачения.

Но вот «структура» опосредствуется «поэзией». Идеологическое содержание перестает существовать само по себе — оно превращается в эстетическое содержание. Но оно не исчезает. Между «структурой» и «поэзией» образуется диалектическое отношение, не понятое крочепанством. Искусство не является, конечно, «оболочкой» для идеологии — здесь мы согласимся с Кроче. Искусство имеет собственный смысл и ценность. И в искусстве все должно оставаться искусством. Но само искусство «идеологично». Какая-нибудь политическая или этическая идея одновременно и отрицается, и утверждается искусством. Отрицается как логиче-

ская идея, как понятие. Утверждается как художественная идея, как гегелевский «нафос». Чтобы уяснить ее в логической форме, приходится анатомировать художественное целое — и в этом Кроче тоже прав. Но исследователь должен решиться на такую анатомическую операцию, иначе как раз художественное целое останется для него загадкой.

Разбор «Божественной комедии», предпринятый Бенедетто Кроче, оказался разительным подтверждением этого. Дантовской идеологией Кроче пренебрегает. Например, утопию всемирной монархии он называет «благим пожеланием всех времен». А относительно дантовской этики рождает вскопзь, что в ней трудно найти что-либо, не заимствованное Данте из прочитанных им книг. Кроче интересуется только «поэзией». Перебирая песни «Комедии», он отвергает то, что ему кажется «структурой», не претворенной в поэзию, и хвалит эпизоды, в которых «поэзия» мощно подчинила «структуру». Анализ «Комедии» превращается в своеобразный реестр таких полноценных художественных эпизодов. Под талантливым пером Кроче этот реестр выглядит увлекательно, но в итоге рассыпается «единство» «Комедии», которое декларирует исследователь. К тому же полновесную художественность Кроче почему-то находит преимущественно в сюжетных ситуациях, объективных конфликтах, драматических персонажах. Патетическими, саркастическими или трагическими высказываниями, сделанными Данте от собственного имени или явно вложенными в уста других героев «Комедии», Кроче зачастую пренебрегает. Его отпугивают призраки «структуры». Он ведь ищет вечные эмоции.

Читатель, очевидно, помнит слова Данте о «нежданых прибылях», погубивших Флоренцию? Кроче заявляет, что исторический смысл этих слов не имеет значения. Важно лишь то, что в них звучат возмущение и презрение поэта. Но *отчего* возмущение? К *чему* презрение? Получается, что для понимания поэзии это безразлично. Воюя против схем, Кроче тем не менее предлагает нам законченную схему. Его метод ведет к формализму. Кроче способен преспокойно перечеркнуть эпизод с «равнодушными», томящимися в преддверии Ада (эпизод, потрясающий воображение!) только потому, что здесь «моралист начинает высказывать свое суждение».

Стоит ли так подробно полемизировать с книгой, вышедшей сорок с лишним лет тому назад? Это необходимо, так как крочество продолжает задавать тон в дантологии, и тут за сорок лет мало что изменилось³⁰.

В качестве характерного образца можно указать исследование А. Ронкалья, посвященное VI песне «Чистилища»³¹. Автор резко

протестует против традиционных попыток усматривать в знаменитом обращении к Италии выражение политических убеждений поэта. Интерпретация в политическом ключе лишь портит художественное впечатление, причем за «хорошо теперь известными и узко средневековыми теориями Данте о роли империи» тенденциозно видят «идеалы, страсти и полемику своего времени и своей партии». Каждая эпоха с легкостью находит у Данте материал для собственной «политической риторики». И это доказывает именно «универсальность» поэзии Данте.

Конечно, в VI песне «Чистилища», продолжает Ронкалья, «поэт весь охвачен реальностью своего времени». Но это не идейная, а чисто эмоциональная реакция на печальную картину гражданских раздоров, это «душевно омраченное и морально негодующее созерцание реальности». В соответствии со средневековым поэтическим вкусом поэт прибегает во имя стиливого эффекта к форме политической инвективы, к внешне логическому красноречию. Но при этом он руководствуется в действительности лишь «ритмом лирического движения», «фантастической логикой внутреннего вдохновения». Поэтому нелепо слышать здесь «крик национального сознания» (Ронкалья насмешливо берет эти слова в кавычки). Ведь «для Данте поэтика — это не искусство возможного, а осуществление абсолютного; из абсолюта исходит и его тоска по обновлению».

Итак, рассуждения о реалистичности и жизненности поэзии Данте служат лишь аргументом в пользу ее «универсальности». Мысль отвергается в угоду чувству, а чувство оценивается как повод для создания тонких поэтических красот. Что же интересует, в конечном счете, автора? Проблема стиливого и композиционного единства VI песни, психологической связи отдельных эпизодов, лирического ритма и т. д. Все это, разумеется, интересно. И многим наблюдениям дантологов школы Кроче над языком, стилем и композицией произведений поэта нельзя отказать в блеске и ценности. Но в целом идеалистическая и сугубо формальная методология, пренебрежение историческим и идейным содержанием творчества Данте приводят в теоретический тупик.

Еще характерней, чем статья Ронкалья, это демонстрирует работа французского дантолога Ивонны Батар, отвергающей подход к Данте и к «Комедии» «с различных рационалистических позиций». Рациональные моменты важны. Но Данте также «вечно юный поэт». И важнее всего в нем — «способы выражения». «Изучать образы „Комедии“ — значит изучать саму „Комедию“»³². Не это ли провозгласил Бенедетто Кроче в 1924 г.? Как и следовало ожидать, искусственное противопоставление исторических и художественных сторон творчества Данте отнюдь не способствует

исследованию эстетических свойств «Комедии». Работа Батар — глубоко удручающий формально-схоластический каталог «разъя-тых как труп» и «поверенных алгеброй» гармонических образов «Комедии».

Если Кроче оговаривал неразрывность «поэзии» и «структуры», то Батар уже полностью отбрасывает «структуру» как нечто чужеродное «поэзии». Любопытно, что Валлоне упрекает Батар, Момильяно и других в отсуствии от учения Бенедетто Кроче³³. Но для нас несомненно, что такие исследователи, как Батар, закономерно завершают процесс оскудения дантологии, столь успешно начатый Кроче, и, противореча, может быть, букве крочеанства, великолепно иллюстрируют пагубность его основной идеи.

Понимание этого сейчас постепенно распространяется в итальянской науке. Все чаще можно встретить попытки как-то «поправить» или даже отвергнуть концепцию Кроче. Дантология стала — в который раз! — полем острых методологических столкновений³⁴.

«Крочеанская система поныне составляет в Италии официальную основу для эстетической оценки литературных произведений; и до тех пор, пока не будет показана несостоятельность этой философской основы, творчество Данте — говоря откровенно — будет оставаться лоскутным набором лирических отрывков, перемешанных с угаснувшими доктринами, которые относятся к „структуре“, не имеющей ничего общего с поэзией и искусством». Так заявляет Пьетро Конти в любопытнейшей работе «Данте в современном мире и методологические проблемы дантологии»³⁵.

Критикуя Кроче, Конти подчеркивает ограниченность и историко-филологической школы Барби. Многие полемические замечания Конти против «диктатуры Кроче и Барби» метко попадают в цель. Но вот дело доходит до позитивных высказываний, и положение сразу меняется. Выясняется, что Конти расценивает политическое учение Данте как выражение «вечных» стремлений человечества к «абсолютной цели» и т. п. Сопоставляя политические принципы Данте с принципами Организации Объединенных Наций, Конти находит, что ООН — лишь скромное повторение дантовского «всемирного государства» и что «не Данте утопист, а мы — утописты», ибо стремимся к социальной гармонии и мировому единству, пренебрегая этическими и политическими предпосылками такого единства. Чтобы непрерывные международные конференции имели успех, должен свершиться переворот в умах: человечество должно вернуться к Цицерону и Данте³⁶. Вряд ли советы Конти помогут дипломатам, заседающим в ООН. Во всяком случае они не помогут дантологам. Конти, как нетрудно заме-

тить, далек в оценке идеологии Данте от какого бы то ни было историзма.

Однако «самой трудной остается эстетическая методологическая проблема». Что предлагает Конти для ее решения? Мы не имеем возможности входить здесь в детали. Отметим лишь в нескольких словах: пытаюсь преодолеть субъективно-идеалистическую эстетику Кроче, Конти ищет прибежища в объективно-идеалистической эстетике Шеллинга. Платон и Шеллинг — таковы авторитеты, на которых предлагает опереться Конти.

Не удивительно, что ревизия крочеанства, поворот в изучении Данте, декларируемый Конти, оказывается при ближайшем рассмотрении топтанием на месте. Р. Монтано также пишет о «начале обновления в области изучения Данте»³⁷. «Обновление» Монтано видит в «лучшем познании и более высокой оценке тех элементов, которые назывались структурными и которых предшествующая критика остерегалась как вещи, чуждой поэзии», т. е. в повышении внимания к идеологии Данте. Но беда в том, что для Монтано «структура» — это в первую очередь религия. Не забудем, что Кроче, отбрасывая «структуру», отбрасывал и христианское содержание «Комедии». Некоторым дантологам не по душе резкие высказывания Кроче именно на сей счет. И «обновление» дантологии заключается, например, для Монтано, в доказательстве того, что поэзию Данте нельзя понять вне католицизма. Это — критика крочеанства *справа*. «Религиозное содержание „Комедии“ составляет единое целое с ее поэтической ценностью», — пишет Фаллани, тоже выступающий против Кроче³⁸. Какое уж тут «обновление»... Перед нами скорее движение по заколдованному кругу — от крочеанства к неотомизму или традициям «эрудитской» школы, обычно взятым не в лучшем варианте.

Конти связывает свои надежды на «поворот» в дантологии с Луиджи Пьетробоно, «учителем всех нас, изучающих мысль и творчество Данте». Пьетробоно, действительно, едва ли не единственный крупный итальянский дантолог, упорно выступающий против крочеанства³⁹. Его наиболее известная работа посвящена «моральной структуре» «Комедии». С поразительной обстоятельностью исследователь выясняет, какие разновидности грехов и наказаний наличествуют в Аду и Чистилище, какие добродетели обретаются в Раю, какова градация грехов и добродетелей, каковы их размещение, соотношение и классификация. Все это сводится во внушительные таблицы. Пьетробоно конструирует железную логическую систему этических взглядов Данте, изгоняя из них все противоречивое, «случайное». В результате схоластика работ Пьетробоно может смело соперничать со схолистикой дан-

товских трактатов. Пьетробоно видит главную задачу даптолога в расшифровке аллегорий. Но манера Пьетробоно истолковывать Данте заставляет вспомнить о насмешках Кроче над «академической» наукой. Например, Пьетробоно настойчиво доказывает, что дантовскую «жадность» следует понимать не в конкретном смысле слова, а как «первородный» грех вообще. Такое понимание «структуры» не в состоянии, конечно, противостоять крочеанскому пренебрежению к «структуре». Более того, метод Пьетробоно и метод Кроче — это единый, хотя и двуликий, Янус итальянской даптологии. В основе обоих методов — впеисторическое и формальное представление об идеологической стороне творчества Данте.

По саркастическому замечанию де Фео и Саварезе, «современные дантологи часто более склонны спорить о методологии, чем читать Данте». Можно добавить, что бесплодные философские споры дополняются копанием в мелочах. Ведь все или почти все, что можно было сказать по поводу той или иной спорной датировки, той или иной текстологической неясности, по поводу древнейшей генеалогии Данте или по поводу таинственной судьбы его останков — по-видимому, сказано. Дальше идти в смысле фактографии уже трудно. И вот одна за другой появляются работы, посвященные таким темам, как: Данте и ислам, роль в «Комедии» девы Марии, символическое и мистическое значение образа света в «Комедии» и т. п. Одного исследователя интересует образ Магомета в XXVIII песне «Ада», другой выясняет вопрос — воображал ли Данте лестницу на небо как звездную или как настоящую лестницу⁴⁰. Множество статей и даже книг посвящается отдельным песням «Комедии». Только о IV песне «Чистилища», ничем не выдающейся среди прочих, в последнее время написано свыше 10 работ⁴¹. Иногда эти исследования пополняют необозримый фонд комментариев к Данте какими-то новыми и полезными деталями⁴². Чаще — это стрельба из эрудитских пушек по воробьям.

Подытоживая, следует сказать, что последние десятилетия отмечены явными признаками кризиса западной дантологии. Подлинное научное и целостное изучение наследия Данте не продвигается ни на шаг по пути крочеанской эстетики или клерикализма, идеалистического схематизма или фактографии. Современная дантология задыхается из-за отсутствия свежих идей, которые ей может дать только марксизм.

И еще несколько необходимых замечаний. Несравненное прогрессивное значение Данте в художественной области давно общепризнано. Но некоторые исследователи изображают дело так,

что по своим идеологическим позициям Данте был человеком вполне средневековым, а в политике отстаивал дворянско-аристократические интересы. Особенно содействовали распространению подобной трактовки авторитетные и красноречивые высказывания Джозуэ Кардуччи⁴³. Эту трактовку поддержали, в частности, Люшер, а недавно Реноде во Франции, Сольми в Италии, Вегели в Германии. У нас ее воспринял В. Фриче, называвший Данте «апологетом дворянского класса», а «Комедию» — «плачем над гибелью аристократической Италии»⁴⁴.

Влияние социологических построений Фриче сильно сказалось в известной (у нас, но, к сожалению, не за рубежом) книге А. К. Дживелегова о Данте⁴⁵. Насыщенная красочным материалом, отмеченная своеобразным беллетристическим талантом и любовным знанием эпохи, эта работа немало способствовала увеличению в Советском Союзе интереса к гениальному итальянскому поэту. Особенно хороша в ней глава о «Комедии» — точно воссоздана культурная атмосфера даптовской Флоренции, тонко уловлен сам дух дантовской поэзии. Книга Дживелегова пользуется большой популярностью у наших читателей. Тем более важно указать на некоторые неверные методологические концепции и выводы Дживелегова, дающие искаженное представление об идеологии Данте. Дживелегов писал: «Богослов, философ, политик — Данте весь в прошлом. Но Данте-художник — дитя новой буржуазной культуры»⁴⁶. С этим противопоставлением никак нельзя согласиться!

Советские ученые вслед за А. В. Луначарским занимались изучением политической мысли Данте. Здесь нужно в первую очередь выделить прекрасные предисловия к «Божественной комедии» К. Н. Державина и А. И. Белецкого⁴⁷. Однако специальных научных работ о Данте после книги А. К. Дживелегова у нас, по сути, не было⁴⁸.

Творчество Данте Алигьери ждет новых марксистских исследований.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

¹ Paradiso, XXII, 124—153 (по кн.: «La divina commedia di Dante Alighieri», v. 3. Commentata da G. Scartazzini. Leipzig. 1900). — Мы будем иногда ссылаться на оригинал и прибегать к подстрочному переводу, чтобы максимально приблизить читателя к логическому смыслу стихов «Комедии».

² Рай, XI, 4—12. — Здесь и в дальнейшем цит. по кн.: Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод М. Лозинского. М., 1950 (Изд. 2. М., 1961).

³ Чистилище, XXIV, 73—81.

⁴ Ад, XVI, 67—76.

⁵ Чистилище, XIV, 16—55.

⁶ Ад, XXV, 10—12.

⁷ Inferno, XXIX, 121—122; XXIII, 58—63; Par., IX, 25; Inf., XXXIII, 16—17; Par., XXII, 51.

⁸ Ад, XXXIII, 79—84, 151—153.

⁹ Dante Alighieri. Convivio. Libro IV. Milano, 1952, cap. 6.

¹⁰ Рай, XIX.

¹¹ Par., XV, 146; XVII, 112; Purgatorio, XVI, 82.

¹² Ад, XXII, 1—5.

¹³ Ад, XXII, 28—38.

¹⁴ Чистилище, VI, 70—87.

¹⁵ Inf., X, 22—94.

¹⁶ Рай, XV, 130—132, 145—147.

¹⁷ Par., VIII, 115—117.

¹⁸ Convivio, IV, 4.

¹⁹ Dantis Aligherii. De Monarchia. Ed. C. Witte. Lib. I, cap. 4. Vindobonae, 1874.

²⁰ Convivio, IV, 4.

²¹ Convivio, I, 1.

²² Purg., XVI, 103—104.

²³ Convivio, IV, 6.

²⁴ De Monarchia, I, 5—8.

²⁵ Чистилище, XVI, 97—98.

²⁶ Паї, XXVII, 140—141.

²⁷ См.: F. Pegolotti. La pratica della mercatura. Cambridge, 1936, p. 195—196, 193—298; A. Doren. Storia economica dell'Italia. Padova, 1936, p. 361—382; A. Doren. Die florentiner Wollentuch-industrie. Stuttgart, 1901, S. 101—138; G. Renard. Histoire du travail à Florence, v. I. Paris, 1913, p. 214—229; G. Yver. Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale. Paris, 1903, p. 288—346; R. Ciasca. L'arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentino. Firenze, 1927, p. 507—606; Д. Плутцатто. Экономическая история Италии. М., 1954, стр. 236, 254—255, 261, 263 и сл., 281, 290—291, 353—354 и др.

²⁸ См.: E. Bensa. Francesco di Marco da Prato. Milano, 1928, p. 35, 74—75. 84 etc.; A. Fanfani. Saggi di storia economica italiana. Milano, 1936, p. 5—8, 112—120 etc.; A. Fanfani. Storia economica. Milano—Messina, 1943, p. 213—223, 265—266, 272—273 etc.; L. Zdekauer. La dogana del porto di Recanati. Fano, 1904; G. Luzzatto. Studi di storia economica veneziana. Padova, 1954; M. Lessce. Il commercio della lana a Verona alla fine del XIV secolo. — «Economia e storia», 1957, № 1; A. Saporì. Studi di storia economica, v. 2. Firenze, 1955.

²⁹ А. Санори указывает, между прочим, на интересный факт объединения итальянских представительств на шампанских ярмарках в XIII в. в сообщество, заключившее сделки от имени купцов Генуи, Венеции, Рима, Флоренции, Милана, Лукки, Пармы и других городов (A. Saporì. Le marchand Italien au Moyen Âge. Paris, 1952, p. XIII).

³⁰ Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. М., 1952 стр. 157.

³¹ Там же, стр. 164—166.

³² См.: там же, стр. 163: «Разложение феодализма, а также развитие городов — оба [процесса] вызывали децентрализацию, отсюда возникла прямая необходимость абсолютной монархии как в силе, скрепляющей национальности. Она должна была быть абсолютной именно вследствие центростремительного характера всех элементов. Но ее абсолютистский характер нужно понимать не в вульгарном смысле; [она развивалась] в постоянной борьбе то с сословным представительством, то с мятежными феодалами и городами...»

³³ Там же, стр. 158.

³⁴ Там же, стр. 165, 163.

³⁵ Там же, стр. 166.

³⁶ D. Compagni. Cronica delle cose occorrenti ne'tempi suoi (Raccolta degli storici italiani, t. IX, p. II. Città di Castello, 1913), libro III, cap. 35.

³⁷ De vulgari eloquentia, I, 16: «Quae quidem nobilissima sunt earum, quae latinorum sunt actiones, haec nullius civitatis Italiae propria sunt, et in omnibus communia sunt».

³⁸ Op. cit., I, 10, 19: «vulgare, quod totius Italiae est».

³⁹ Op. cit., I, 16: «Nam licet curia (secundum quod unita accipitur, ut curia regis Alamaniae) in Italia non sit, membra tamen eius non desunt: et sicut membra illius una principe uniuntur sicut membra huius gratioso lumine rationis unita sunt: quare falsum esset dicere, curia carere Italos, quamquam principe careamus; quoniam curiam habemus, licet corporaliter sit dispersa».

Мы согласны с возражениями Г. Вией (Crisi tra «Monarchia» e «Commedia» — *Giornale st. della letteratura italiana*. Torino, 1956, v. CXXXIII, fasc. 1) против неверного толкования этого отрывка у Пассерип д'Энтрев (*Dante politico e altri saggi*. Torino, 1955, p. 97—113).

⁴⁰ De Monarchia, I, 16. См. также: Convivio, I, 5; Ад, I, 74; II, 16—21; IV, 118—128; XIV, 103—111; Рай, V, 115—139; VI, 1—27; XX, 43—44.

⁴¹ Чистилище, XVIII, 119—120; III, 112—131; Ад, X, 119; Convivio, IV, 3; Чистилище, XVI, 115—117; Ад, XIII, 64—69; Рай, III, 118—120; Чистилище, VI, 88—117; VII, 91—96.

⁴² Convivio, IV, 9.

⁴³ Convivio, IV, 27.

⁴⁴ Epistolae, VII, V (по кн.: «Dantis Alagherii Opera omnia». II. Leipzig, 1921).

⁴⁵ Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии, стр. 166.

⁴⁶ Iohannis de Sermonate, notarii mediolanensis, «Historia de situ, origine et cultoribus Ambrosianae urbis ac de Mediolanensium gestis sub imperio Henrici Septimi». — In: «Rerum italicarum scriptores», t. IX, cap. VI. Milano, 1726.

⁴⁷ См.: P. Renucci. L'aventure de l'humanisme européen en Moyen Age, v. I. Paris, 1953, p. 58 etc.; Ch. Davis. Dante and the idea of Rome. Oxford, 1957, p. 30, 73—86.

⁴⁸ De Monarchia, I, 12.

⁴⁹ См.: F. Ercole. Dal comune al principato. Firenze, 1929, p. 239.

⁵⁰ De Monarchia, III, 16.

⁵¹ Convivio, IV, 4; De Monarchia, I, 4—5.

⁵² Epistolae, VI.

⁵³ De Monarchia, I, 12.

⁵⁴ Чистилище, XXVIII, 139—143.

⁵⁵ De Monarchia, III, 16.

⁵⁶ Convivio, II, 10.

⁵⁷ Convivio, IV, 6; ср. Ад, VIII, 49—51.

⁵⁸ Convivio, IV, 6. Аналогичные мысли мы находим у Чино да Пистойя (G. Saitta. Il pensiero italiano nell'immanesimo e nel rinascimento, v. I. Bologna, 1949, p. 15).

⁵⁹ De Monarchia, I, 12.

⁶⁰ Ф. Шлоссер. Всемирная история, т. III. СПб., 1870, стр. 320.

⁶¹ Epistolae, VI.

⁶² Epistolae, VII.

⁶³ Epistolae, VI.

⁶⁴ De Monarchia, I, II; Convivio, IV, 4. — Так же представляли себе желанную империю современники Данте — Чино да Пистойя (G. Saitta. Op. cit., p. 15) и Джованни да Черменато (Iohannis de Sermonate. Historia... — In: «Rerum italicarum scriptores», t. IX, cap. VI, 1726).

⁶⁵ De Monarchia, I, 12.

⁶⁶ De Monarchia, I, 14.

⁶⁷ De Monarchia, III, 10. — В сходном смысле высказывался и Чино да Пистойя (G. Saitta. Op. cit., p. 16).

⁶⁸ Convivio, IV, 4, 9.

⁶⁹ Любопытно меткое определение, данное любимым историком Маркса Ф. Шлоссером: «Данте требует, чтобы сила императорской власти поддерживала единство независимых итальянских государств» (Ф. Шлоссер. Всемирная история). Теория Данте оказалась близка этому представителю буржуазии раздробленной Германии XIX в.

⁷⁰ А. В. Луначарский, пропитательно подчеркивающий буржуазный характер утопии Данте («Статьи о литературе». М., 1957, стр. 443—463), не точен, по нашему мнению, лишь в двух пунктах. Во-первых, Данте объективно «всей душой стремится к буржуазному порядку», а не сознательно, субъективно, как можно понять А. В. Луначарского. Во-вторых, вряд ли утопию Данте можно назвать «утопией просвещенного абсолютизма». Данте мечтал о конфедерации итальянских государств. У Данте оригинальный, так сказать, муниципальный — итальянский вариант национальной монархии.

⁷¹ De Monarchia, I, 16.

⁷² Цит. по кн.: F. Ercole. Dal comune al principato, p. 122, 124—125 etc.

⁷³ См.: P. Villari. Il «De Monarchia» di Dante Alighieri. — In: «Nuova antologia, vol. CLI, fasc. 939. Roma, 1914, p. 397—400. — Изложение этого вопроса можно также найти у Ч. Девиса (Dante and the idea of Rome. Oxford, 1957).

⁷⁴ Чистилище, XXI, 106—111.

⁷⁵ Чистилище, XIX, 127—132; XX, 85—90; Ад, II, 22—30.

⁷⁶ Ад, XIX, 40, 100—103, 123; XXVII, 70—111.

⁷⁷ De Monarchia, III, 16.

⁷⁸ Epistolae, VIII.

⁷⁹ Далее имеются в виду: Ад, XIX; Рай, XXII; XXI; IX, 121—142.

⁸⁰ См.: B. Nardi. Nel mondo di Dante. Roma, 1944, p. 109—159. — Данте о «даре Константина»: Ад, XIX, 115—117; Чистилище, XXXII, 127—129, 136—141; XXXIII, 55—63; Рай, XX, 52—60; De Monarchia, I, 10—11.

⁸¹ Рай, XXVII, 40—42; XII, 88—93; Чистилище, XXII, 32—34; De Monarchia, III, 10; Epistolae, VIII.

⁸² Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. II. М., 1949, стр. 379; Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии, стр. 35.

⁸³ Далее имеются в виду: Чистилище, III, 112—145; Рай, XVIII, 127—136; XXVII, 52—54; XXIX, 73—120.

⁸⁴ Рай, XIX, 67—148.

⁸⁵ Рай, VI, 16 и сл.

⁸⁶ См.: N. Matteini. Il più antico oppositore di Dante. Padova, 1958; а также нашу рецензию в сб.: «Средние века» М., 1962, вып. XXII.

ГЛАВА ВТОРАЯ

¹ Выше цит.: Чистилище, XVI, 58—60; XX, 8—12; Ад, I, 49—51; Рай, XXX, 139.

² См.: В. И. Рутенбург. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. М.—Л., 1951; О п же. Народные движения

в городах Италии. М.—Л., 1958; Дж. Лудцатто. Экономическая история Италии. М., 1954; A. Doren. Italianische Wirtschafts-geschichte. Iena, 1934; Он же. Die florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Stuttgart, 1901; A. Saporì. Lezioni di storia economica. Milano, 1955.

³ К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. М., 1940, стр. 42, 48. См. также: К. Маркс. Капитал, т. I, М., 1949, стр. 710—721.

⁴ П. М. Бицилли. Салимбене. Одесса, 1914, стр. 253—254 п др.

⁵ B. Gui. De secta illorum qui se dicunt esse de ordine apostolorum. — In: Raccolta degli storici italiani, t. IX, parte V. Città di Castello, 1907, p. 19—21, 24—25; Historia fratris Dulcini heresiarche (d'Anonimo sincrono). — Ibid., p. 8—9; Acta sancti officii Bononiae. — Ibid., p. 53—54, 61 etc. См. о Дольчино: С. Д. Сказкин. Первое послание Дольчино. — В кн.: «Из истории социально-экономических идей». М., 1955; Он же. Восстание Дольчино. — «Преподавание истории в школе», 1949, № 4; В. Töpfer. Die apostelbrüder und der Aufstand des Dolcino. Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert. Berlin, 1960, S. 62—84.

⁶ О мессианстве францисканцев и иоахимитов см.: L. Salvatorelli. Movimento francescano e gioachimismo. — Belazioni del X Congr. internaz. di scienze storiche, v. VIII. Firenze, 1955, p. 441—442. О связях между иоахимизмом и Данте см.: Ch. Davis. Dante and the idea of Rome, app. 9.

⁷ «Dominus Federicus rex Aragonie debebat intrare Romam... et fieri imperator per Romanos... Et quod ipse dominus Federicus factus imperator debebat facere novem reges Italia... interficerent dominum papam... et multos prelatos et multos clericos et monachos... et esset maxima guerra et eis ac toti Ecclesie...» etc. (Historia fratris Dulcini..., p. 8); «Qui Fredericus debet relevari in imperatorem et facere reges novos et Bonifacium papam pugnando havere et facere reges occidi cum aliis occidendis... tunc omnes christiani erunt positi in pace» (B. Gui. Op. cit., p. 21).

⁸ Считается, что Данте относился к Дольчино враждебно, ибо поместил его в ад, среди «сеятелей раздора» (Ад, XXVII, 55—60). Но Данте иногда помещал в ад по чисто формальным признакам даже тех, к кому относился дружески, ведь в аду находятся Франческа да Римини, Брунетто Латини, Фарината Уберти. Интересно, что Магомет, заговаривающий с Данте о Дольчино, просит поэта передать вождю восставших сочувственные деловые советы, как ему выстоять против крестоносных войск. Поэтому вопрос об отношении Данте к Дольчино трудно решать на основании 27-й песни «Ада».

⁹ Convivio, IV, 12.

¹⁰ Convivio, IV, 11.

¹¹ См.: А. К. Дживелегов. Данте. М., 1946, стр. 357—361.

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Соч., т. 4, стр. 426—427.

¹³ Рай, XXVII, 121—135.

¹⁴ А. К. Дживелегов. Данте, стр. 361.

¹⁵ Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1952, стр. 4.

¹⁶ Рай, IX, 127—132.

¹⁷ М. Л. Лозинский удачно передает смысл выражения: «Lo mondo... di malizia gravido e sorerto» (Purg., XVI, 58—60).

¹⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Соч., т. 4, стр. 426.

¹⁹ Ад, VI, 74—75.

²⁰ «...tutti quanti.. in cui usa avarizia il suo soperchio» (Inf., VII, 25—35).

²¹ Inf., XVI, 73: «...i subiti guadagni».

²² Convivio, IV, 11: «...licito dico, quando per arte o per mercatanzia o per servizio meritate...»

²³ G. Воссассио. Il commento sopra la Commedia. Firenze, 1863, v. I, p. 182—184; v. II, p. 94—100, 104.

²⁴ Рай, XI, 43—117.

²⁵ Рай, XII, 121—126.

²⁶ Giovanni Villani. Cronica. Libro VIII, cap. CXXI. Firenze, 1823.

²⁷ Рай, XVII, 55—57; Ад, XXIII, 94—95; XIX, 17; XIV, 1—2.

²⁸ Ад, XV, 68.

²⁹ Dante Alighieri. Il Canzoniere (Opera omnia, v. I. Leipzig, 1921), p. 485—486.

³⁰ Ад, XXVI, 10—12.

³¹ Epistolae, VI.

³² Ад, XXVI, 1—3.

³³ Ад, VIII, 70—78.

³⁴ Аллегория достаточно очевидна. Если поэт называет рай «городом того императора, который царствует наверху» (Inf., I, 124—126), городом, в котором живет «мудрый и здравый народ», противопоставляя этот идеальный райский «город» Флоренция (Par., XXXI, 39), то, конечно же, адский город — это Флоренция. Издали Данте видит верхушки башен Дита, хотя затем ни о каких зданиях не упоминается. Данте и Вергилию прегражден путь в Дит (и Вергилий горестно вздыхает: «Кем в скорбный город путь мне возбранен»), но они уверены, что проникнут в Дит с помощью небес; речь ангела, обращенная к стражам Дита, чуть ли не дословно напоминает послание Данте к флорентийцам и т. д. Наша точка зрения согласуется с мнением некоторых дантологов (см.: A. Vallone. La critica dantesca contemporanea. Pisa, 1953, p. 185).

³⁵ Рай, XV, 97—132.

³⁶ Рай, XVI, 49—68.

³⁷ Par., XVI, 149—154.

³⁸ Inf., XVI, 73—75: «La gente nuova, e i subiti guadagni Orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te...»

³⁹ Par., XVI, 49—51.

⁴⁰ Ад, I, 94—106 и сл.

⁴¹ Ниже цит.: Чистилище, VI, 121—123; XX, 13—15; Par., XXII, 14—15; XXVII, 61—66.

⁴² См. по этому вопросу обзоры: Isidoro del Lungo. Dino Compagni e la sua cronica, v. II. Firenze, 1880, p. 528—562; G. Fallani. Poesia e teologia nella Divina Commedia. Milano, 1959, p. 31—37; L. Olschki. Dante «poeta Veltro». Firenze, 1953.

⁴³ G. Воссассио. Il commento..., v. I, p. 191—194.

⁴⁴ Par., XVII, 82—93.

⁴⁵ Чистилище, XXXIII, 37—54.

⁴⁶ Par., XXVII, 121—148.

⁴⁷ Par., XXX, 137—141.

⁴⁸ De Monarchia, III, 16. См. также: De Monarchia, I, 16.

⁴⁹ Рай, XVII, 112—120, 124—132.

⁵⁰ Чистилище, XXXII, 103—105.

⁵¹ Epistolae, X.

⁵² Рай, XXXI, 37—39.

⁵³ Далее имеются в виду: Рай, I, 55—57; XXXI, 49—51; 61—63; Par., XXXII, 52—57; Inf., I, 124—128 («... quello imperador che lassù regna... In tutte parti impera, e quivi regge. Quivi è la sua città e l'alto seggio»); Par., XXXII, 98, 116—117; Рай, XXXII, 61—65; XXXI, 25; Purg., XXXII, 102 («... quella Roma, onde Cristo è romano»); Рай, XXVII, 7—8. — Разумеется, социальное и политическое толкование «Комедии» не может исчерпать сложных идейных построений дантовской поэмы. Они необъятно широки. Данте касается всего, что занимало умы его современников. Поэтому аллегория «Комедии», так сказать, «многослойна». Это история морального испытания и очищения души; это повесть о земном грехе и загробном воздаянии, о добродетели и вечном блаженстве; это космогоническая и богословская картина мира; это апофеоз христианства.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

¹ См.: R. Davidsohn. Geschichte von Florenz, B. III—IV. Berlin, 1912—1927; I. del Lungo. Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII. Milano, 1899; G. Salvemini. Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295. Firenze, 1899; P. Villari. I primi due secoli della storia di Firenze. Firenze, 1947; а также: Л. М. Баткин. Гвельфы и гибеллины во Флоренции. — В сб.: «Средние века». М., 1959, вып. XVI; Он же. Подготовка и создание приората во Флоренции. — «Исторические науки», 1961, № 2; Он же. Флорентийские гранды и поправки 6 июля 1295 г. к «Уставлениям правосудия». — В сб.: «Средние века». М., 1961, вып. XX.

² Рай, XXVII, 22—26. В подлиннике папская курия охарактеризована сильнее: «Кровавая и гноящая клоака» («cloaca del sangue e della puzza»).

³ Inf., III, 34—51.

⁴ Par., XVI, 40, 51. См.: A. Bartoli. Della vita di Dante Alighieri. Firenze, 1884, p. 5—8 etc.

⁵ Флорентийский хронист Малеспини дает подробные перечни всех видных дворянских фамилий XII—XIII вв. В 56—57 главах его хроники называются, например, свыше ста фамилий. Алигьери в них нет. Нет их и в аналогичных перечнях у хрониста Виллани.

⁶ N. Zingarelli. La vita, i tempi e le opere di Dante. v. 1. Milano, 1934, p. 72—73.

⁷ L. Bruni Aretino. Vita di Dante. — In: «La Commedia di Dante Alighieri, dichiarata da Bianchi». Firenze, 1854, p. XIX.

⁸ См. эти и нижеследующие данные в кн.: N. Zingarelli. La vita, i tempi e le opere di Dante, p. 375—377.

⁹ G. Vossaccio. Vita di Dante. Leipzig, 1924, p. 20.

¹⁰ L. Bruni Aretino. Vita di Dante, p. XIV.

¹¹ «Dante Alighieri consuluit quod de servitio faciendo domino Papae nihil fiat», — говорится в протоколах заседания советов

(см.: P. Fraticelli. Storia della vita di Dante Alighieri. Firenze, 1861, p. 137—138).

¹² L. Bruni Aretino. Vita di Dante, p. XVI: «I Priori, per consiglio di Dante, provvidero di fortificarsi della moltitudine del popolo»; Leonardi Aretini Historiarum Florentini populi libri XII. — In: «Raccolta degli storici italiani», t. XIX, parte III. Città die Castello, 1926, p. 90: «... collegis persuadet, uti animos capessant, populum pro libertate ac tutela republicae in arma excitent». — Бруни путает хронологию, так как Данте не был приором во время совета в Сапта Тринита. Но в его сообщении, недостоверном с узко фактической стороны, показательна общая оценка политической позиции Данте.

¹³ Чистилище, XX, 73—77; VI, 133—135, 142—144.

¹⁴ Тексты приговоров (январского и последующего, мартовского) см. в кн.: К. Федерн. Данте и его время. М., 1911, стр. 273—278.

¹⁵ Il Canzoniere, p. 501—504.

¹⁶ Il Canzoniere, p. 486.

¹⁷ L. Bruni Aretino. Vita di Dante, p. XVII.

¹⁸ Epistolae, I.

¹⁹ Ад, XV, 70—72.

²⁰ Рай, XVII, 58—69.

²¹ Inf., XXVIII, 108; Par., XVI, 138; Par., VI, 99.

²² Par., VI, 31—33, 100—105.

²³ См.: Л. М. Баткин. Хроника Дино Компаньи или притча Данте Алигьери? — Сб. «Средние века», М., 1960, вып. XVII.

²⁴ «Canzona del pregio». — In: I. del Lungo. Dino Compagni e la sua cronica, v. II, p. 384.

²⁵ D. Compagni. Cronica, III, 42.

²⁶ Ад, XII, 104—105. См. также: Ад, XXVII, 37—54; XXVII; Чистилище, VI, 124—126; Рай, IX, 29—30 и т. д.

²⁷ Далее цит.: D. Compagni. Cronica, III, 22, 24, 37, 42.

²⁸ См. К. Маркс. Хронологические выписки. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. VI, 1939, стр. 4. — Эти сведения К. Маркс выписал из «Всемирной истории» Шлоссера. В дальнейшем мы будем приводить те замечания К. Маркса, которые обнаруживают смысловые акценты и эмоциональные оттенки, отсутствующие в труде Шлоссера.

²⁹ Acta Henrici VII a F. Bonainio collecta. Pars. I. Florentia, 1877, p. 42—45. Последняя серьезная работа о Генрихе VII и его итальянском походе: W. Bowsky. Henry VII in Italy. Lincoln Univ. Press, 1960.

³⁰ См.: Villani, IX, 1; M. Stefani. Cronica fiorentina. — In: «Raccolta degli storici italiani», t. XXX. Città di Castello, 1903—1913, rubr. 277. См. также стихи анонимного генуэзского поэта о Генрихе в кн.: Zingarelli. Op. cit., parte II, p. 606.

³¹ Compagni, III, 26.

³² Nicolai episcopi Botrontinensis. Relatio de itinere italico Henrici VII imperatoris ad Clementem V papam. — In: «Rerum italicorum scriptores», t. IX. Milano, 1726, p. 889.

³³ Compagni, III, 24.

³⁴ Simone della Tosa. Annali (Cronichette antiche, Firenze, 1733), p. 160.

³⁵ Villani, IX, 15, 47. О раздорах среди флорентийцев по вопросу об отношении к Генриху см.: Villani, VIII, 119 etc.; IX, 8. Интересное указание содержится в *Historie fiorentine* (Отдел рукописей Государственной библиотеки им. Ленина, ф. 256, № ИН. 120, л. 39, об.), когда Генрих осаждал Флоренцию, «*molti cittadini l'andarono a visitare, confortandolo che egli entrassi in Firenze*».

³⁶ *Epistolae*, V.

³⁷ К. Маркс. Хронологические выписки, т. VI, стр. 7.

³⁸ Villani, IX, 7; Nicolai episcopi Botrontinensis. *Relatio...*, p. 908.

³⁹ *Compagni*, III, 26.

⁴⁰ *Compagni*, III, 36.

⁴¹ К. Маркс. Хронологические выписки, т. VI, стр. 9; *Acta Henrici VII, pars I*, p. 286—330.

⁴² К. Маркс. Хронологические выписки, т. VI, стр. 9.

⁴³ Nicolai episcopi Botrontinensis. *Relatio...*, p. 895.

⁴⁴ К. Маркс. Хронологические выписки, т. VI, стр. 8.

⁴⁵ *Epistolae*, VI.

⁴⁶ *Epistolae*, VII.

⁴⁷ Villani, IX, 12. По другому свидетельству, страшный голод распространился «по всей Италии» («*Ricobaldi Ferraricensis. Compilatio chronologica. Documenti di storia italiana, t. VI. Firenze, 1876, p. 259*»).

⁴⁸ *Compagni*, III, 31—32; Villani, IX, 30.

⁴⁹ *Epistolae*, VI.

⁵⁰ *Par.*, XXX, 136—141.

⁵¹ См.: U. Cosma. *Vita di Dante*. Bari, 1949, p. 229—230.

⁵² *Il Canzoniere*, p. 461—462.

⁵³ *Convivio*, I, 3.

⁵⁴ *Epistolae*, IX.

⁵⁵ *Convivio*, IV, 28.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

¹ Цит. по кн.: F. Ercole. *Dal comune al principato*, p. 30.

² См.: F. de Sanctis. *Storia della letteratura italiana. v. I. Milano, 1940 (Appendice antologica, p. 453—454)*.

³ А. Дель Монте, пренебрегая анализом социального содержания и классовой почвы «сладостного стиля», приходит к традиционному выводу, будто новая поэтическая школа была лишь модифицированным продолжением поэзии провансальских трубадуров (A. del Monte. *Dolce stil nuovo*. — «*Filologia Romana*». Torino, 1956, № 11).

⁴ *Convivio*, IV, *Canzona tersa*, 10—14.

⁵ *Convivio*, IV, 1.

⁶ *Convivio*, IV, 7.

⁷ *Convivio*, IV, 3, 8.

⁸ *Convivio*, IV, 1.

⁹ *De vulgari eloquentia*, I, 1.

¹⁰ *Convivio*, I, 12.

¹¹ *Convivio*, I, 10.

¹² *Convivio*, I, 7.

¹³ Convivio, I, 5.

¹⁴ Convivio, I, 9, 6, 1, 8, 12.

¹⁵ Convivio, I, 11.

¹⁶ Convivio, IV, 1.

¹⁷ Convivio, III, 5.

¹⁸ Никак нельзя согласиться, в частности, с точкой зрения А. К. Дживелегова, утверждавшего, будто «Пир» рассчитан на сочувствие дворянского читателя и знаменует влияние на Данте аристократически-феодалной идеологии (А. К. Дживелегов. Данте, 1946, стр. 194—196).

¹⁹ Convivio, I, 9: «...questi nobili sono principi, baroni, cavalieri, e molt'altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte in questa lingua, volgari e non litterati».

²⁰ Convivio, I, 13.

²¹ Convivio, IV. Canzona, 33—37; IV, 3, 8, 10.

²² Convivio, IV, 7.

²³ Convivio, IV, 16.

²⁴ Il Canzoniere, p. 493—494.

²⁵ Convivio, IV, 16.

²⁶ Convivio, IV, 20.

²⁷ Convivio, IV, 22, 15, 6.

²⁸ Convivio, IV, 15. — Интересно сопоставить страницы «Пира» с канцопой Дино Компаньи, само название которой достаточно выразительно — «Как каждый может приобрести благородство». Компаньи писал: «Без благородства не заслуживает хвалы ничто другое, даже достоинство императорской короны. Потому что, чем человек выше, тем презренней он, если не понимает благородства и не упоает на него; а кто хочет следовать благородству, тот и достоин» (I. del Lungo. Dino Compagni e la sua cronica, v. II, p. 379—380).

²⁹ Convivio, IV, 14.

³⁰ Ф. Вегеле. Данте Алигьери, его жизнь и сочинения. М., 1881, стр. 117—118, 146.

³¹ De Monarchia, II, 3.

³² Рай, XV, 1—6.

³³ Purg., XIV, 86—126. — М. Л. Лозинский перевел как «войны» слово «gli affanni». Это место переводится так: «...дела и утехи, располагавшие к любви и благородству». Конечно, Данте не думал сожалеть о феодальных войнах.

³⁴ Чистилище, XI, 61—65.

³⁵ Чистилище, XIII, 133—138.

³⁶ Villani, IX, 136.

³⁷ Convivio, IV, 15, 20, 28, 8.

³⁸ Чистилище, IX, 79—81, 86—87, 118—119.

³⁹ Рай, I, 13—33; XXV, 7—9.

⁴⁰ Ад, XXIV, 46—53.

⁴¹ Ад, XXVI, 94—98, 112—120 и др.

⁴² Giovanni Morelli. Ricordi. Firenze, 1956, p. 226, 264. См.: Л. М. Баткин. Этюд о Джованни Морелли. — «Вопросы истории», 1962, № 12.

⁴³ К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. I. М., 1955, стр. 238.

⁴⁴ Convivio, I, 1. Ср.: Convivio, IV, 7; De Monarchia, I, 3, 5.

- ⁴⁵ Далее имеются в виду: *Convivio*, IV, 7; II, 7; III, 13; Чистилище, XXV, 34—75.
- ⁴⁶ *Convivio*, III, 11.
- ⁴⁷ *De Monarchia*, I, 1.
- ⁴⁸ *Convivio*, IV, 17. См. также: *Convivio*, II, 4; Чистилище, XVII, 91—132; XXVII, 97—108.
- ⁴⁹ Далее цит.: Рай, XXIV, 61—81; Чистилище, III, 34—36; *Convivio*, III, 4; III, 14.
- ⁵⁰ См.: B. Nardi. *Dante e la cultura medievale*. Bari, 1949, p. 226 segg; G. Saitta. *Il pensiero italiano nell'umanesimo e nel rinascimento*, v. I. Bologna, 1949, p. 24—29.
- ⁵¹ *Convivio*, IV, 8.
- ⁵² *Convivio*, III, 7; III, 8. Далее цит.: *Convivio*, III, 2; IV, 19. См. также: Чистилище, XII, 95; Рай, VII, 64—76; *De Monarchia*, I, 4 и др.
- ⁵³ Чистилище, X, 121—129. Далее имеется в виду: Чистилище, XII, 109—111.
- ⁵⁴ Ад, VI, 88—89.
- ⁵⁵ Ад, XV, 119—120; XVI, 82—85. См. также: Ад, XIII, 52—56; XXVII, 57; XXVIII, 91—93; XXXI, 125—127; XXXII, 91—96; Чистилище, V, 49—51; XXVI, 64.
- ⁵⁶ Ад, XXIX, 103—105; XXXII, 95—96.
- ⁵⁷ Ад, XVI, 67—72; XXVII, 25—30; X, 76—78; X, 52—72; XXVII, 61—66; XXX, 58—69; Чистилище, VIII, 78—84; XIII, 148—154; XIX, 142—145; XXII, 97—111; III, 142—145.
- ⁵⁸ Ад, XXX, 100—148.
- ⁵⁹ Чистилище, II, 67—75; 112—117 и т. д.
- ⁶⁰ Далее цит.: Ад, IX, 112—116; XIX, 16—18; Чистилище, III, 49—51; IV, 25—26; Ад, XII, 4—9; XV, 4—11; Чистилище, VI, 1—9; IX, 142—145; II, 70—72; IV, 19—21; XII, 100; Ад, XXVI, 25—30; XVIII, 28—33; XXI, 55—57; Рай, XXXII, 139—144; XII, 3.
- ⁶¹ *Inf.*, XII, 85: «Vene è vivo...»
- ⁶² *Par.*, XXXIII, 37.
- ⁶³ Чистилище, XXIV, 52—54.
- ⁶⁴ См. прекрасный анализ этого эпизода «Комедии» у Франческо де Санктиса (*История итальянской литературы*, т. I. М., 1963, стр. 274 и сл.). Написанное им о Данте вообще принадлежит к золотому фонду дантологии.
- ⁶⁵ Выше цит.: *Convivio*, II, 1.
- ⁶⁶ Ад, IX, 62—63.
- ⁶⁷ В. Н. Лазарев не усматривает в эстетике Данте ничего, кроме консервативно-средневековых, теологических идей (*Происхождение итальянского Возрождения*, т. I. М., 1956, стр. 55—57).
- ⁶⁸ *Convivio*, IV, 10.
- ⁶⁹ *Convivio*, III, 4.
- ⁷⁰ *Par.*, I, 127—129.
- ⁷¹ *Par.*, XXIII, 61—66.
- ⁷² *Par.*, XXX, 19—36.
- ⁷³ *Par.*, X, 10—12.
- ⁷⁴ См. о музыке: *Convivio*, II, 13.
- ⁷⁵ Рай, II, 1—9.
- ⁷⁶ *Inf.*, XVI, 127—129.
- ⁷⁷ *Inf.*, I, 87.
- ⁷⁸ *Convivio*, I, 9; I, 7.

⁷⁹ Convivio, II, 11.

⁸⁰ См. выше: Рай, XXVII, 91—93; Чистилище, X, 28—96; XII, 16—72.

⁸¹ См.: V. Lugli. Dante e Balzac. Napoli, 1952, p. 17.

⁸² Ад, II, 61. — В оригинале еще короче: «... друг мой, но не счастья».

⁸³ Ад, I, 64—67 (курсив мой. — Л. Б.) «Non uomo; uomo già fui».

⁸⁴ Чистилище, XXI, 132.

⁸⁵ Ад, XXXIII, 73—75 (курсив мой. — Л. Б.). — Зато в аду Уголино обречен вечно впиваться зубами в череп своего ненавистника Руджьери, «в кость вонзая, как у собаки крепкие клыки». Сдержанный трагизм рассказа Уголино окаймлен этой дикой, кровавой сценой.

⁸⁶ См. К. Маркс. Капитал, т. I. М., 1951, стр. 9; К критике политической экономии. М., 1949, стр. 10.

⁸⁷ Это указывал, отдавая должное классическому таланту М. Лозинского, в отношении его шекспировских переводов К. Чуковский («Высокое искусство». М., 1941, стр. 122—123). И также отмечал замену «упованиями» шекспировских «надежд».

⁸⁸ Inf., III, 1—3;

Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.

К тому же все три строки (как и несколько последующих) оканчиваются одним звуком «e» и связаны аллитерациями: рокошущим «g» и взрывными «d» и «t». Потусторонний мир насыщен, кстати говоря, разнообразнейшими звучаниями, и слуховая характеристика очень существенна для реализма Данте. При этом сама фонетическая ткань необычайно выразительна. «Когда б мой стих был хриплый и скрипучий, как требует зловещее жерло», — ставит перед собой задачу поэт в «Аду» (XXXII, 1—2). А «Рай» виртуозно мелодичен. Дантовская стиховая звукопись особенно трудна для перевода.

⁸⁹ Inf., V, 126: «Farò come colui che piange e dice» (ср. Inf., XXXIII, 9: «Parlare e lagrimar vedrai insieme»).

⁹⁰ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М., 1957, стр. 140.

⁹¹ «Vita nuova», XXIII, canzona II, 49—56.

⁹² Чистилище, XIX, 41—42; VIII, 5—6; Inf., I, 60; Ад, VI, 91; V, 51; Чистилище, XXIII, 40 (перевод точно соответствует оригиналу).

⁹³ Далее имеются в виду: Ад, XIII; XII, 100 и сл.; XXXIII, 112; XX, 23—24; XXV.

⁹⁴ Ад, XXVIII, 112—142. Далее имеются в виду: Ад, XXXIII, 1—3; IX, 82—83.

⁹⁵ Чистилище, IV, 100—114.

⁹⁶ Ад, XXXI, 130—145.

⁹⁷ Чистилище, I, 49—51.

⁹⁸ Inf., VI, 3—6. — В переводе М. Лозинского первое лицо изредка заменено неопределенно-личными оборотами.

⁹⁹ Inf., III, 56—57.

¹⁰⁰ Ад, XXXII, 72.

¹⁰¹ Чистилище, XXIX, 23—30 (курсив мой. — Л. Б.):

... se divota fosse stata,
Avrei quelle ineffabili delizie
Sentite prima, e più lunga fiata.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

¹ А. В. Луначарский. Статьи о литературе, М., 1957, стр. 462.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДАНТЕ И ДАНТОЛОГИЯ

¹ См.: A. Saporì. Rassegna delle pubblicazioni dantesche italiane del secentenario. — Arch. storico italiano, v. 1. Firenze, 1921, p. 221 e segg.

² См. библиографию и обзоры литературы в кн.: G. Scartazzini. Dante-Handbuch. Leipzig, 1892; N. Zingarelli. La vita, i tempi e le opere di Dante. Milano, 1934; A. Vallone. La critica dantesca contemporanea. Pisa, 1953; F. Schneider. Dante, sein Leben und sein Werk. Weimar, 1960; А. К. Дживелегов. Данте. М., 1946. — Наш обзор не претендует на какую-либо полноту, многие важные работы в нем не упомянуты. Его цель — отметить общие тенденции в изучении социально-политического мировоззрения Данте.

³ G. Scartazzini. Enciclopedia dantesca. 2 vv. Milano, 1896—1899.

⁴ K. Hillebrand. Études italiennes. Paris, 1868, p. 41, 48—53.

⁵ R. Davidsohn. Geschichte von Florenz. Bd. IV. Berlin, 1927, S. 205—206.

⁶ A. Capra-Legora. La politica di Dante e di Marsilio da Padova. Roma-Torino, 1906, p. 9—11, 46—48.

⁷ A. Panella. Storia di Firenze. Firenze, 1949, p. 88.

⁸ F. Ercole. Dal comune al principato. Firenze, 1929, p. 134 e segg.

⁹ I. del Lungo. Dal secolo e dal poema di Dante. Bologna, 1892; P. Villari. II «De Monarchia» di Dante Alighieri. Roma, 1914; A. Solmi. Stato e Chiesa nel pensiero di Dante. — Arch. storico italiano, v. 1. Firenze, 1921; M. Barbi. Dante, vita, opere e fortuna. Firenze, 1933 (отдельное издание очерка, вошедшего в «Enciclopedia italiana»).

¹⁰ P. Villari, XI «De Monarchia.», p. 402, 404; idem. I primi due secoli della storia di Firenze, p. 492.

¹¹ M. Barbi. Dante..., p. 108, 73.

¹² M. Apollonio. Dante (Storia della «Commedia», 2 vv. Milano, 1951 (цит. v. I, p. 112).

¹³ Ch. Davis. Dante and the idea of Rome. Oxford, 1957. Далее цит. стр. 38, 143, 169—170, 187—189.

¹⁴ B. Nardi. *Nel mondo di Dante*. Roma, 1944; *idem*. *Dante e la cultura medievale*. Bari, 1949 (цит. стр. 412—413, 415).

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. *Об искусстве*, т. I. М., 1956, стр. 106.

¹⁶ P. Renucci. *L'aventure de l'humanisme européen en Moyen Âge*. 2 vv. Paris, 1953—1954.

¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. *Об искусстве*, т. I, стр. 105.

¹⁸ A. Passerin d'Entrèves. *Dante politico e altri saggi*. Torino, 1955 (см. стр. 55, 59, 61, 57).

¹⁹ G. De Feo, G. Savarese. *Antologia della critica dantesca*. Messina-Firenze, 1958, p. 261.

²⁰ См.: A. Vallone. *La critica dantesca...*, p. 263.

²¹ T. Spöerri. *Die Aktualität Dantes*. Zürich, 1945.

²² N. Lenkeith. *Dante and the legend of Rome*. London, 1952.

²³ L. Olschki. *Dante «poeta Veltro»*. Firenze, 1953, p. 90—91.

²⁴ G. Papini. *Dante vivo*. Firenze, 1951.

²⁵ E. Gilson. *Dante et la philosophie*. Paris, 1930.

²⁶ М. Ралчев, например, заявляет, что «вне всякого сомнения источником широкого вдохновения Данте является религия. Все остальные элементы — этический, политический, философский, личный — подчинены и проецируются на религиозном фоне». Трагичность «Ада», по словам Ралчева, заключается в «конфликте плоти и духа, земного и божественного, человека и бога, т. е. в борьбе между добром и злом» (М. Ралчев. *Данте Алигьери*. Критический этюд. София, 1947, стр. 13, 39). Те же утверждения содержатся в книге У. Космо, для которого Данте — «Великий христианин», чья биография походит на житие святого: «...церковь не имела сына, более крепко привязанного к ней, чем этот странный мирянин... для которого теология не имела тайн» (U. Cosmo. *Vita di Dante*. Bari, 1949, p. 241). И. Галлер озабочен тем, чтобы изобразить Данте «корректным католиком». Правда, поэт критиковал церковь, но лишь во имя ее укрепления. Призывы Данте, пишет Галлер, были пророческими, так как церковь в конце концов отказалась от светской власти и выиграла, ибо «возросла ее мощь в царстве духа...» (I. Haller. *Dante. Dichter und Mensch*. Basel, 1954, S. 199—200, 209, 213—214). Ничего нового нет и в недавно вышедшей работе Дж. Фаллани «Поэзия и теология в „Божественной комедии“», получившей одобрение апостольской цензуры (G. Fallani. *Poesia e teologia nella Divina Commedia*. Milano, 1959). В книжке о Ренессансе, пропитанной воинствующим клерикализмом, Ф. Беранс неместно отзывается о Данте, но зато восхваляет величие Волифация VIII (F. Verence. *La Renaissance italienne*. Paris, 1954). Нет смысла вступать здесь в спор с авторами подобных работ или продолжать их перечень.

²⁷ A. Renaudet. *Dante humaniste*. Paris, 1952 (см. стр. 17—18, 30, 531—535, 20—29, 554, 49—50, 55—56, 72 и др.).

²⁸ В. Гроссе. *La poesia di Dante*. Ed. 9. Bari, 1958.

²⁹ См.: A. Vallone. *La critica dantesca...*, p. 50—51.

³⁰ Об эстетике Б. Кроче и об его влиянии на все области гуманитарной мысли Италии см., например, работу Г. Дубова и В. Полицци в сб. «О современной буржуазной эстетике» (М., 1963, стр. 65—142).

³¹ A. Roncaglia. Il canto VI del Purgatorio. — La rassegna della letteratura italiana. Genova, 1956, № 3—4. (цит. стр. 412, 415, 413—420, 422).

³² I. Batard. Dante (Minerve et Apollon). Paris, 1951, p. 16.

³³ A. Vallone. La critica dantesca., p. 26, 183, 258—259.

³⁴ В сб. «Lecture dantesche (Purgatorio)» (Firenze, 1958) уже первая статья, принадлежащая Э. Биджи, содержит возражения против крочеанства; вторая статья, написанная Ф. Флора, напротив, выдержана в крочеанском духе; эти противоречия характерны для сборника в целом. Антикрочеанская тенденция заметна также у Де Фео и Саварезе, составителей «Antologia della critica dantesca», у А. Саккетто (A. Sacchetto. Dieci lecture dantesche. Firenze, 1960, p. 27 e seqq.). Луиджи Руссо, считавший себя учеником Кроче, тем не менее решительно высказался против дантологических концепций Кроче в своем итоговом труде (L. Russo. Storia della letteratura italiana, vol. I. Firenze, 1957, p. 244—250). Другие работы мы укажем ниже.

³⁵ P. Conte. Dante nel mondo di oggi e i problemi metodologici della critica dantesca. Torino, 1959, p. 16. Это лекция, прочитанная в «Дантовском доме» — римском дантологическом институте.

³⁶ P. Conte. Dante nel mondo di oggi., p. 8, 27—28.

³⁷ R. Montano. Suggestimenti per una lettura di Dante. — In: «Antologia della critica dantesca», p. 33—34.

³⁸ G. Fallani. Poesia e teologia nella Divina Commedia, 1959. p. 36—37, 105, 116—117. См. также: F. Biondolillo. Poetica e poesia di Dante. Messina, 1948, p. 2.

³⁹ L. Pietrobbono. Dal centro al cerchio (la struttura morale della Divina Commedia). Torino, 1956; idem. Il canto I dell'Inferno. Torino, 1959; idem. Nuovi saggi danteschi. Torino, 1954.

⁴⁰ См.: A. Vallone. La critica dantesca, p. 121—126; V. Maier. Dante (rassegna bibliografica). — La rassegna della letteratura italiana. Genova, 1956, № 3—4, p. 550—553.

⁴¹ Одна из последних — R. Sirri. Il canto IV del Purgatorio. Napoli, 1956. Там же см. библиографию.

⁴² Например, большое уважение вызывают тщательные исследования С. Сантанджело (S. Santangelo. Saggi danteschi. Padova, 1959).

⁴³ См.: Д. Кардуччи. Очерк развития национальной литературы в Италии. Харьков, 1896; Он же. Данте и его произведения. Харьков, 1899.

⁴⁴ В. Фриче. Данте Алигьери. — «Творчество», 1921, № 4—6.

⁴⁵ А. К. Дживелегов. Данте, изд. 1, 1933.

⁴⁶ А. К. Дживелегов. Данте и его «Комедия». — В кн.: Данте Алигьери. «Божественная комедия. Ад». М., 1940, стр. 9. — Справедливости ради нужно отметить, что во втором издании книги о Данте А. К. Дживелегов, отнюдь не отказываясь от оценки социальных позиций поэта как феодально-средневековых, все же несколько смягчил противопоставление Данте-художника и Данте-политика.

⁴⁷ К. Н. Державин. Творение Данте. — В кн.: Данте Алигьери. «Божественная комедия». М., 1950; изд. 2, 1961. О. І. Білецький. Поэма Данте. — В кн.: Данте Алигьери. «Пекло». Київ, 1956.

⁴⁸ Статья В. Ф. Голосова «Народные корни „Божественной комедии“» (Уч. зап. Красноярского гос. пед. ин-та, 1955, т. 4, вып. 1) и работа С. Т. Ваймана «Данте и проблема зарождения реализма» (Душанбе, 1961), написанные без учета зарубежной дантологической литературы и без обращения к Данте в оригинале, к тому же несерьезны в методологическом отношении. Что касается наших статей «Утопия всемирной монархии у Данте» (Сб. «Средние века». М., 1958, вып. XI), «Данте — провозвестник гуманизма» («Вопросы истории», 1965, № 3), «Реальность и аллегория в поэтике Данте» («Вопросы литературы», 1965, № 5) и др., то они явились этапами в работе над этой книгой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Рутенбург. Первый поэт нового времени. (От редактора)	5
Глава первая	
Утопия всемирной монархии	
I. «Безмерно горький мир»	11
II. «Судно без кормила»	18
III. «Сад империи»	27
IV. «Не парод ради правителя, а правитель ради народа»	34
V. «Местом торга сделан храм»	41
Глава вторая	
Против алчности	
I. «Волчица, от которой ты в слезах»	55
II. «Одуряет вас корысть слепая»	61
III. «Нагрывает пес, и кончится она»	67
Глава третья	
Во Флоренции и в изгнании	
I. «И они грызутся, одной стеной и рвом окружены»	79
II. «Народ мой, что я тебе сделал?»	93
III. «Близок тот, кто освободит тебя из темницы»	101
IV. «Смерть к груди моей приставила ключи»	107
Глава четвертая	
У истоков гуманизма	
I. «Истинное мерило человеческого благородства»	117
II. «Не ниже аптелов!»	130
III. «Смири в нем силу смертных порываний»	140
IV. «Стихами моей Комедии клянусь»	146
V. «И кто умеет смотреть, увидит, что все это прекрасно»	153
Некоторые выводы	162
Политическая мысль Данте и дантология	166
Примечания	182

Леонид Михайлович Баткин

Данте и его время

*Утверждено к печати редколлегией
научно-популярной литературы
Академии наук СССР*

Редактор издательства *Н. В. Шевелева*
Технический редактор *Р. М. Денисова*

Сводный темплан художественной литературы № 1034

Сдано в набор 5/IV 1965 г.

Подписано к печати 13/V 1965 г.

Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 6,75.

Усл. л. 11,07. Уч.-изд. л. 10,1. Тираж 32000 экз.

Т-06854. Изд. № 115/65. Тип. зак. № 194.

Цена 28 коп.

Издательство «Наука».
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

1-я тип. издательства «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

